

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

Степанцов П.М., Ермакова В.Б.

**Метафорические и метонимические стратегии
социологического теоретизирования**

Москва 2016

Аннотация. Объектом исследования являются: эпистемические основания социологического теоретизирования.

Первая глава посвящена реконструкции становления метода рефлексии теории посредством экспликации базовых метафор и его проблематизации. Во второй главе обозначается базовая метафора настоящего исследования (теоретическая работа как коммуникация) и исследуются ее возможности. Здесь же выстроена концепция метонимической стратегии теоретизирования, противопоставленная уже существующей и хорошо разработанной метафорической стратегии. В третьей главе собраны иллюстрации к выстроенной на основе диады Якобсона модели теоретической работы.

Главным теоретическим результатом является концептуализация и описание метонимической модели мышления в социальной теории на основе представления о двух полюсах (метафорическом и метонимическом) теоретической работы.

Степанцов П.М., старший научный сотрудник Центра социологических исследований ИОН Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

Ермакова В.Б., слушатель магистерской программы "Фундаментальная социология" ФСФ ИОН РАНХиГС

Данная работа подготовлена на основе материалов научно-исследовательской работы, выполненной в соответствии с Государственным заданием РАНХиГС при Президенте Российской Федерации на 2015 год.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
1 Метафора в эпистемологии: отрицание, признание, проблематизация.....	6
1.1 История одного метода: развитие представлений о метафоре как основании социологического исследования.....	6
1.2 Четыре решения проблемы Анкерсмита	16
2 Два полюса теоретического стратегирования: схема анализа теоретических стратегий на основании диады р. Якобсона.....	36
2.1 Сообщения как аналог языковых единиц в теоретической работе.....	37
2.2 Аналоги языковых операций в теоретической работе	40
3 Анализ кейса.....	50
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	57
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	58

ВВЕДЕНИЕ

Говорить о метафорических, метонимических и т.д. стратегиях стало возможным во второй половине XX в. Это время признания эпистемологией социальных наук своих дотеоретических оснований, оснований, имеющих интуитивную, образную природу. Однако с самого начала (будем условно считать таковой публикацию «Парадигм метафорологии» (1960) Х.Блюменберга) в фокусе внимания эпистемологов лишь формально были «дотеоретические основания» во множественном числе. Во первых и в главных речь всегда шла о метафоре.

Сегодня перспективной кажется разработка альтернативных стратегий. Механизм работы метафоры, в том числе и в исследовательской практике, описан настолько подробно, что стало возможным обучение молодых ученых осознанной работе с метафорами и построению прикладных концептуализаций на их основе. Но если метафора – лишь одно из дотеоретических оснований, значит, возможны и другие стратегии теоретизирования, описание которых расширит набор теоретических инструментов социолога. Однако пока такого описания нет. При этом механизм работы метафоры подвергается критике, как недостаточный для понимания работы мышления ученого. Ф.Анкерсмит обращает внимание на то, что метафора, чьим основным свойством является превращение незнакомого в знакомое, не может служить инструментом проблематизации. Это критическое замечание подталкивает к изучению иных, неметафорических оснований, которые по отдельности, либо в комбинации, делают проблематизацию возможной. Но к изучению взаимосвязи работы различных тропов нельзя подойти, не описав их по отдельности, что сегодня сделано только для метафоры. Следующим шагом в развитии эпистемологии социальных наук может стать поиск и осмысление альтернативных теоретических стратегий.

Эта работа стремится приблизиться к пониманию работы метонимической модели мышления. Мы полагаем, что сегодня стратегия социологического теоретизирования на основе метонимии, даже не будучи отрефлексированной и описанной, реализуется в практике научной работы, в частности, в таком направлении как акторно-сетевая теория, но также и среди тех исследователей, которые на словах утверждают, что основанием их работы является метафорическая стратегия (см. кейс Дж. Урри в Главе 3).

Заявленная проблема предполагает рассмотрение в качестве объекта

настоящего исследования эпистемических оснований социологического теоретизирования.

1 Метафора в эпистемологии: отрицание, признание, проблематизация

История любой дисциплины обыкновенно написана как история представлений о её объекте, потому историю социологии составляет преимущественно развитие представлений об обществе. Но кроме объектов дисциплины и субдисциплины разнятся своими методами и спецификой их применения. Однако «история метода» не является сегодня разработанным жанром. В первом разделе этой главы в качестве введения в тему мы обратимся именно к неразработанному жанру истории метода и проследим путь выделения базовых метафор как способа рефлексии теории от его корней (философии Л. Витгенштейна) до современного применения в прикладной социологии и обучении социологов, вынужденно пересекая при этом границы дисциплин. Далее мы подробнее остановимся на критике метафоры, сформулированной голландским философом Ф. Анкерсмитом, а именно, на его тезисе о том, что сущностным свойством метафоры является превращение незнакомого в знакомое. Мы проследим историю становления этой проблемы, и покажем, что условием постановки проблемы Анкерсмита является отказ от выделения двух полюсов языка, предложенного Романом Jakobsonом. Таким образом, в первой главе наш путь будет пролегать от становления метода рефлексии базовых метафор, через его проблематизацию к указанию на возможный ресурс решения проблемы.

1.1 История одного метода: развитие представлений о метафоре как основании социологического исследования

Поле, в котором будут проводиться наши изыскания, необходимо ограничить. Назовем его условно полем «теорий метафоры». Речь идет о междисциплинарной сфере, объединенной только объектом исследовательского интереса (метафорой). Несмотря на долгую историю вопроса, лишь в XX в. связь языка и мышления приобрела характер острой и активно обсуждаемой проблемы в целом ряде дисциплин. Поэтому наше рассмотрение будет ограничено узкими рамками последних ста лет.

1.1.1 Философия: Л.Витгенштейн и лингвистический поворот

Одним из способов описания интеллектуальной истории XX в. является ее представление в метафоре поворотов («к практике», «к материальному»). Всплеск интереса к тропу метафоры возник благодаря «лингвистическому повороту». Термин был предложен Густавом Бергманом и закрепился благодаря одноименной антологии Ричарда Рорти [4]. Суть «поворота» состоит в росте интереса к изучению языка, речи и фигуративной речи в частности, проявившегося в первой половине XX в., постепенно распространяющегося на все более широкий круг дисциплин: от лингвистики и литературоведения через философию, порождая целые направления (структурализм), в общественные науки (история, социология), наконец, к концу века эта волна достигла даже естественных наук (с начала 80-х метод предлагался географам [5]). Лингвистический поворот означает проблематизацию интеллектуального решения Античности – разделения риторики (как средства убеждения) и диалектики (как пути к истине). Некоторые попытки в этом направлении предпринимались и раньше (Лоренцо Валла, Джамбаттиста Вико, Фридрих Ницше с его метафорой «тюрьмы языка»), однако не могли преодолеть интеллектуальный мейнстрим. Успешность лингвистического поворота в XX в. явилась едва и не личной заслугой Людвиг Витгенштейна. Именно ему в «Логико-философском трактате» [6] удалось остро поставить проблему прозрачности языка, сформулировав в афоризме «О чем невозможно говорить, о том следует молчать» вызов, который приняли целый ряд мыслителей (прежде всего члены Венского кружка). Изменения представлений Витгенштейна от ранних («Логико-философский трактат», 1921 г.) к поздним («Философские исследования», [6] опубликованы посмертно, в 1953 г.) работам отражают уже названный выше процесс автономизации сферы языка и понимания его как практики речи.

Содержательно лингвистический поворот начинался с проблем, связанных с референцией и поиском возможностей решения скептицистских парадоксов (ниже мы рассмотрим пример такого рода проблемы, разбирая одну из ранних статей Макса Блэка). В процессе решения этой проблемы лингвистические философы оказались вынуждены пересмотреть представление о языке как отражении действительности. Перспективной оказалась точка зрения Витгенштейна, не фокусирующаяся на связке язык-действительность, а полагающая язык и речь самостоятельной сферой реальности. Автономизация языка открыла возможности вновь поставить вопрос о

связи языка и мышления, и из служебной роли язык в XX в. постепенно приобретает статус условия возможности мышления. Мир действительного оказывается либо принципиально непознаваемым без посредничества языка (эпистемический релятивизм), либо несуществующим без творящего языка (онтологический релятивизм). И первой сферой, которую захватил лингвистический поворот закономерным образом стала лингвистическая философия, поскольку именно она в новом раскладе сил выступала как хранительница доступа истины.

1.1.2 Лингвистическая философия и когнитивная лингвистика: М. Блэк и проблема внеистинности метафор, Дж. Лакофф и телесный разум

Работы Блэка и Лакоффа задают общие рамки поворота.

Американский философ Макс Блэк занимался темой метафоры на протяжении большей части своей творческой биографии. Его работы по этой теме захватывают период от конца 40-х до 80-х.

Язык не является инструментальным по отношению к мысли для Блэка уже в работе 1948 г. «Лингвистический метод в философии» [7]. В ней Блэк предлагает способ разрешения скептицистского сомнения средствами лингвистической философии. Он показывает, что вопрос в духе «Как мы можем узнать, что человек – дальтоник, если этот человек научился обманывать все существующие современные системы диагностики дальтонизма?» не имеет смысла, поскольку «дальтонизм» не является чем-то, существующим отдельно от средств его диагностики. «Дальтонизм» является термином, который мы используем в ситуациях, возникающих после проверки, давшей положительный результат, и в этом смысле принадлежит реальности языка, а не обозначаемых языковыми средствами элементов опыта. Причем эта мысль не является открытием для времени выхода статьи. В своей статье Блэк заимствует пример скептицистского сомнения из книги К.Льюиса «Разум и мировой порядок» (1929 г.). В ней Льюис утверждает, что опыт реальности дан нам в интерпретации, а не непосредственно. Отсылка к «Лингвистическому методу и философии» Блэка понадобилась нам не для того, чтобы зафиксировать интеллектуальный прорыв, а чтобы задать точку отсчета последующих ходов, показав конвенциональные на конец 40-х представления о роли языка.

Одна из причин, по которой метафоры привлекли внимание исследователей и стали причиной бурных дискуссий (особенно в 70-е гг.) может быть пояснена как раз через обращение к «Лингвистическому методу в философии». «Дальтонизм» – это

термин, корректность употребления которого (т.е. истинность суждения с использованием этого термина) мы можем подвергнуть эмпирической проверке (тест на выявления дальтонизма). В отношении буквальных утверждений, в обход всех скептицистских сомнений, может быть сделано заключение об их истинности или ложности. Но это правило не действует, когда мы имеем дело с метафорами – такую позицию будет отстаивать Блэк в книге «Модели и метафоры» (1962) [8]. По его мнению, для метафор не могут быть названы условия, при которых высказывание истинно. Поэтому в научных текстах, где предъявляются повышенные требования к точности и ясности изложения, функция метафор эвристическая, они служат облегчению понимания [8, с. 37]. В этом вопросе с М.Блэком согласен Д. Дэвидсон [9, с. 263]. Позиция Блэка и Дэвидсона (которую сегодня объединяют в рамках прагматического подхода к изучению метафоры: см. Рассохина М.В. Метафора в языке социологической теории/Сер.: «Научные доклады МВШСЭН»; Вып. 1; Под ред. Г.С. Батыгина. М.: Московская высшая школа социальных и экономических наук. 2001.) противопоставляется субстанциалистской концепции (термин Блэка), согласно которой каждое метафорическое выражение можно заменить эквивалентным ему буквальным выражением (и в таком виде проверить на истинность или ложность). Отрицая саму возможность проверки, Блэк указывает на вызов, который метафоры представляют для лингвистической философии.

В работе «Подробнее о метафоре» 1979 г. [10] Блэк разворачивает собственную, интеракционистскую теорию метафоры (основные идеи которой мы можем найти еще в статье 1955 г. [11]). Интеракционистская теория целиком помещает метафору в сферу языка и речи, отделяя ее не только от специфического эмпирического опыта индивида (дальтонизм в примере Блэка), но и разрывает любую связь с внеязыковыми явлениями. Метафора – это особого рода связь между концептами, но никогда не между концептами и чем-то вне языка и речи. Причем метафора как вид связи обладает свойством приращения значения (и понимания) за счет ее способности выступать фильтром, акцентируя одни и выводя из зоны внимания другие элементы того явления, которое говорящий стремится с помощью метафоры прояснить (метафора закопченного стекла, на котором прочерчены линии).

Годом позже, в 1980-м, Лакофф и Джонсон публикуют работу «Метафоры, которыми мы живём» [12], затрагивающую вопросы природы метафоры, связи между концептами, проблемы объективности и установления истинности – темы, которым Макс Блэк посвятил жизнь. Рецензия Блэка [13] была одновременно ироничной,

разгромной и снисходительной: он счел книгу заведомо (в силу амбициозности задачи) неудачной авантюрой, указал авторам на целый ряд недоработок и упрекнул в крайней неряшливости исполнения. Реакция, естественная для ученого, который всегда стремился работать с как можно более мелкими единицами анализа, делая свои собственные высказывания максимально конкретными и лишь очень осторожно переходя на более высокие уровни абстракции (так, вопрос о связи двух метафор он понимал как глубоко проблемный и высказывался по нему в подчеркнуто гипотетическом ключе).

Отзыв Блэка не помешал работе Лакоффа и Джонсона стать, во-первых, одной из самых популярных книг о влиянии метафоры на мышление, и во-вторых, вбросить в дискуссию тезис о телесности ума, отвергающем Декартово противопоставление ума и тела [14]. Идея телесного ума предполагает, что метафора, описывая незнакомое через знакомое, является основным механизмом развития разума и культуры. Метафора подвергает первичному структурированию сферы непознанного («война как драка»), которые затем осваиваются, подвергаются детализации и могут служить ресурсами для осваивания новых непознанных областей («спор как война» – метафорический перенос, нередуцируемый до переноса «спор как драка», поскольку включает новые метафорические элементы, такие как «запас аргументов» по аналогии с «запасами снарядов»). Для рефлексии науки этот ход среди прочего означает, что невозможна строгая демаркация языка научной теории и языка здравого смысла. А для истории метода рефлексии теории книга Лакоффа и Джонсона является точкой, после которой допустимо говорить, как это делает Дж. Урри, что «всё человеческое мышление основано на метафоре» [15, с.38].

1.1.3 История идей: Х. Блюменберг и реванш риторики

Самая значимая для нашего рассмотрения работа Блюменберга, «Парадигмы метафорологии» [1], была впервые опубликована в 1960-м на немецком языке, и потому не привлекла большого внимания за пределами страны. Переводы книг Блюменберга на английский появятся только в 80-х и вызовут бурное обсуждение. Однако работа Блюменберга становится ресурсом для осмысления дотеоретических оснований дисциплины в российской социологии (см. А.Филиппов, К теории социальных событий [16]). Но мы обратимся не к рефлексии, а к работе немецкого историка идей.

По контрасту с Блэком, для Блюменберга отправной точкой становится не

работа метафоры в отдельном высказывании, а вся интеллектуальная история человечества. Он начинает с описания конвенционального отношения к метафоре в середине XX в.: в научных и философских текстах следует выносить за скобки всю фигуративную речь, наподобие «идолов» Бэкона. Идеальной считается ситуация, когда все термины, которым в принципе может быть дана дефиниция, строго определены.

Блюменберг с другого ракурса описывает ту же конвенцию, с которой мы познакомились, рассматривая статью Блэка «Лингвистический метод и философия». Пренебрежение строгими дефинициями приводит к парадоксам, скептицистским сомнениям, грозящим обернуться солипсизмом. Поскольку метафоры не поддаются проверке на истинность \ ложность, отказ от них является своего рода требованием техники безопасности в научном тексте.

«Другим ракурсом» Блюменберга является позиция интеллектуального историка. Он напоминает, что концепты меняются, их значения смещаются, а значит, требование строгой дефиниции оказывается невыполнимым, если мы учитываем временную перспективу. Блюменберг дополняет свою мысль аргументом Дж. Вико, направленным против Декарта: ясность, точность, строгость и определенность в интеллектуальной работе, к которым призывает Декарт, достижимы лишь для творца в отношении им созданного, но не для человека в отношении других божьих творений. Человеческому познанию по-настоящему доступно лишь то, что производит он сам (в мире воображения, в мире культуры). Последнее утверждение явным образом несет угрозу солипсизма, и важно Блюменбергу только чтобы дополнительно подчеркнуть роль воображения. Хотя, будучи развитым до вида «даже для творца ясность в познании доступна лишь в момент творения», это возражение оказывается встроенным в историческую линию аргументации автора «Парадигм метафорологии».

Собственный аргумент Блюменберга, исторический, интересен тем, что обнаруживает внутреннее напряжение между способом мысли историка и нормой производства высказываний в философии и науке, заданной Декартом. Анализировать это напряжение позже будут Хейден Уайт [17] и Франклин Анкерсмит [18].

Однако свою позицию Блюменберг противопоставляет даже не Декарту, а традиции, заложенной в Античности. В ту эпоху разведение риторики и диалектики идея, что истина само по себе обладает способностью убеждать, были революционными, полагает Блюменберг. Возвращаясь к этой начальной точке

отсчета, Блюменберг задается вопросом, способна ли риторика на нечто большее, чем простое обслуживание интересов истины и ее украшение. Очевидно, что ответ «способна» не возник в процессе работы автора, а является той интуицией, которая и побудила его высказаться. Это принципиально иной заход на проблему метафоры, нежели тот, с которым мы встретились у Блэка. Из любопытной помехи на пути ко все большей точности и ясности, интеллектуальной задачи, которую нужно решить – такой метафора предстала для Блэка, у Блюменберга она превращается в фундаментальное основание мышления, а ее защита (и все фигуративной речи) – основной целью.

Продолжая историческую реконструкцию, Блюменберг указывает, что первоначально простое логическое разделение на мысль и слово (в Античности) в Новое время, одержимое идеей прогресса, начинает пониматься как поступательное движение от мифа к логосу, путь, на котором метафоры выступают рудиментами и, если процесс не будет прерван, в силу логики прогресса должны будут отмереть. Если в античном разделении Блюменберга не устраивает подчиненная роль риторики, то схема Нового времени, кажется ему еще менее адекватной. В качестве альтернативы он предлагает собственную схему, где фигуративная речь является фундаментом, средой, из которой выкристаллизовываются концепты – решение, противостоящее более чем двухтысячелетней интеллектуальной конвенции.

Из всех классиков философии Блюменбергу удастся опереться лишь на Канта, который в своих «Критиках» не отрицал значение интуиции и воображения. Блюменберг обращает внимание, что «символы» Канта функционируют именно так, как это делают метафоры в понимании самого Блюменберга и предполагающего перенос образа одного объекта интуиции на другой. Здесь же мы встречаемся с мыслью, которую будет развивать Анкерсмит в «Эстетической политике», противопоставляя перспективы историка и перспективу, считающуюся нормой, для научного познания. Это идея Канта, подхваченная Блюменбергом и перенесенная им в сферу осмысления метафор: наложение интуитивных образов не говорит нам, чем объект является сам по себе, «на самом деле», но говорит нам о том, чем он является для нас – то есть позиция выносящего суждения из трансцендентальной становится «посюсторонней» и индивидуальной (в смысле уникальности, а не в смысле принадлежности индивиду).

У Блюменберга мы находим и важное для нас понятие «абсолютных метафор» – примерный аналог того, что современные исследователи называют метафорами

терминальными [19]. Абсолютные метафоры (например, «голая правда») – это основание философской или теоретической конструкции. Они не могут быть сведены к концептам, не подчиняются логическим правилам и служат упорядочиванию восприятия реальности в целом, задавая ориентиры мысли и действию. При этом, как и любые идеи, абсолютные метафоры имеют собственную историю, и задача метафорологии – заниматься изучением этих глубинных структур мышления. В том же ключе (как глубинные структуры) метафоры и другие тропы будет рассматривать историк Хейден Уайт.

1.1.4 История: Х.Уайт и парадигмальный статус метафоры.

Точкой прорыва очерченной выше философской проблематики в сферу социальных наук, моментом, когда влияние «лингвистического поворота» сказалось и на них, стала «Метаистория» Хейдена Уайта. Она была опубликована в 1973 г., вызвала бурные дискуссии и сильную критическую реакцию, что не помешало ей стать классикой.

Бурная реакция связана с тем, что в начале 70-х гг. историческая наука подвергалась критике со стороны философов (таких как Хайдеггер, Сартр, Леви-Строс, Фуко). Одной из ключевых претензий к истории было обвинение в том, что она поставляет теоретические обоснования для идеологии / идеологий, обвинение от которого историки стремились защититься. И в этой ситуации Уайт акцентирует литературную, нарративную составляющую исторической науки. Он применяет литературоведческие инструменты (в частности, концепт тропов) для анализа текстов как собственно историков (Мишле, Ранке, Токвиль, Буркхард) так и философов истории (Маркс, Ницше, Кроче). При этом среди классиков, к которым обращается Уайт для обоснования предлагаемого им метода, мы найдем те же имена, которые были значимы для Блюменберга (Лоренцо Валла, Джамбаттиста Вико), прослеживаются и параллели между эпистемологией Уайта и априорными формами Канта, которые Уайт в духе современной ему лингвистической философии перемещает в сферу языка.

Свою схему анализа текста Уайт представляет в «Метаистории» в виде таблицы 1:

Таблица 1 – Схема анализа исторического сочинения

Тропологический модус	Тип построения сюжета	Тип доказательства	Тип идеологического подтекста
<i>Метафора</i>	Романтический	Формистский	Анархический
<i>Метонимия</i>	Трагический	Механистичный	Радикальный
<i>Синекдоха</i>	Комический	Органицистский	Консервативный
<i>Ирония</i>	Сатирический	Контекстуалистский	Либеральный

Все компоненты этой схемы Уайт заимствует: типы построения сюжета у Н. Фрая, типы доказательства у С. Пеппера, а типология идеологических подтекстов является видоизмененной классификацией идеологий К.Манхейма.

Выделяя четыре тропа, Уайт опирается на таких авторов как Пьера де ла Раме и Джамбаттиста Вико. При этом он отходит от стандартов тропологии своего времени. Уайт констатирует, что его современники (Р. Якобсон и К. Леви-Строс, Ж. Лакан) преимущественно оперируют диадой метафора-метонимия. Уайт понимает метафору как парадигмальный троп и постулирует ее нахождение на «глубинном уровне сознания» [17, с. 19]. Значимым для Уайта является тот факт, что Якобсон [20] противопоставляет метафоре метонимию как фундаментальный троп реалистической прозы. Это значит, что диада метафора-метонимия выступает как различие, параллельное античному различению риторики и диалектики. Уайт же подрывает это различие, формально не выступая против него. Он допускает, что исторические тексты существуют в двух планах: содержательном, который он оставляет для рассмотрения аналитических философов, и литературном, анализом которого занимается он сам. Уайт производит ту же логическую операцию, что Блюменберг, который не отрицал самого различения риторики и диалектики, но настаивал на принципиально ином способе их связи (отрицая постепенное движение от мифа к логосу, постулируя одновременность риторического и диалектического уровней, причем первого – как фундаментального для второго). Сохраняя различие содержательного и риторического уровней в историческом нарративе, Уайт разрывает связь (реалистичная) метонимия – (поэтическая) метафора и, постулируя наличие глубинного уровня сознания, размещает в нем все четыре тропа, объявляя метафору главным из них (а остальные – разновидностями метафоры [17, с. 53]).

Схема анализа исторических текстов Уайта является более разработанной, чем аналогичный инструментарий социологии, ограничивающейся сегодня по преимуществу экспликацией своих метафорических оснований.

1.1.5 Социология: технологизация метода

Исторический нарратив склонен сокращаться и сжиматься, подходя к моменту описания настоящего. Поэтому обозначим несколькими штрихами, в каком метод, имеющий столь долгую историю, предстал «в законченном виде» (вспомнив те правила, по которым методы принято презентовать в сегодняшней социологии) студентам-социологам в России.

«Социологическое исследование, ограничивающее свой предмет четко поставленными гипотезами и использующее строгие методы обоснования научного вывода, также содержит метафорический компонент» – отмечает Г. Батыгин в «Лекциях по методологии социологических исследований» в 1996 г.

Четверть века спустя в «Реальности образования» Д.Константиновского, В.Вахштайна и Д.Куракина [21] это утверждение разворачивается в развернутое описание способов работы с метафорическими основаниями. Из озарения и наития метафоры становятся рабочим инструментом, обязательным для исследовательской рефлексии. И если терминальные метафоры по-прежнему «говорят нами больше, чем мы ими» [19], то выбор инструментальной метафоры, позволяющей дать новое объяснение, обеспечивающей свежий взгляд на объект, попадает теперь в сферу ответственности исследователя. Метод переживает период технологизации.

1.1.6 Ф.Анкерсмит и вопрос о возможности проблематизации.

Вызовом для непроблематичного использования метода экспликации метафор как средства рефлексии теории является «проблема Анкерсмита». В «Истории и тропологии» [22, с. 13-19] Анкерсмиту удалось показать, что свойством метафоры является превращение незнакомого в знакомое (менее знакомое X описывается в терминах более знакомого Y). Из этого следует, что метафора не может служить инструментом проблематизации, ведь незнакомое сводится к уже знакомому. Аргумент Анкерсмита болезненно ударяет именно по социологии, где нет сложной системы нарративного анализа, аналогичной той, которую предложил Х.Уайт для историков. Но даже для историков, принимающих тезис Уайта о парадигмальности тропа метафоры, вызов оказывается значимым. Социологов он вынуждает сегодня

обращаться к осмыслению альтернативных, не метафорических стратегий теоретизирования [23]. Метод продолжает свое развитие.

1.2 Четыре решения проблемы Анкерсмита

Идея о том, что в основе человеческого мышления, в том числе научного (и социологического в частности) лежат метафоры, за последние 50 лет прошла эволюцию от дерзкой до общепринятой. Сегодня легитимно обсуждать, какие метафоры являются подходящими для конкретного прикладного исследования [21] и для социологии в целом [32, Р. 22]. Рефлексия собственных дотеоретических оснований продвигалась в социальных науках с разной скоростью. Историки заметно обогнали социологов: Хейден Уайт еще в 1973 предложил развернутую схему анализа исторических текстов на базе 4 тропов, метафоры, метонимии, синекдохи и иронии. Социологи вступили в игру позже и, не имея собственного Хейдена Уайта, ассимилировали готовые разработки других дисциплин, среди которых особой популярностью пользуется когнитивная лингвистика [33], чей набор категорий ограничивается метафорой и метонимией.

Историки сумели уйти дальше не только в разработке фигуративных оснований науки, но и в критике самой идеи подобных оснований. Серьезным возражением против тропологии Уайта стала «проблема Анкерсмита». Ф.Анкерсмит утверждает, что тропы служат превращению незнакомого в знакомое и не способны выполнять обратную операцию. Если Анкерсмит прав, то, прибегая к метафоре, мы скорее уклоняемся от интеллектуальных вызовов, чем принимаем их. Решение Анкерсмита заключается в отказе от тропологии и обращении к опыту, отрывающему, как он полагает, доступ к незнакомому. Такое решение имеет далеко идущие теоретические следствия, в частности, разрыв с философским наследием Декарта и Канта и возврат к эпистемологии Аристотеля [22, Р. 24]. Нас же будет занимать поиск менее радикальных решений.

Этот текст показывает, как различие Р. Якобсоном метафорического и метонимического языкового полюса повлияло на постановку проблемы Анкерсмита, и указывает несколько вариантов её решения. Первое принадлежит самому Анкерсмиту и опирается на категорию опыта. Второе В. Шкловскому, описавшему прием остранения. Третье – Г. Бейтсону в теории двойного послания. Наконец, рассматривается, как проблема Анкерсмита может быть решена на базе собственного различия Якобсона.

Тот факт, что интерпретация идей лингвиста (диада метафора-метонимия Р.Якобсона) через концепцию теории коммуникации (двойное послание Г. Бейтсона) используется для решения проблемы, поставленной историком перед эпистемологией социальных наук (проблема Анкерсмита), нуждается в пояснении. Речь не идет о модной «междисциплинарности». Столь пестрая смесь оправдана несколькими допущениями. Во-первых, в этой работе допускается, что Лакофф и Джонсон правы, когда указывают на нашу склонность концептуализировать с помощью метафор то, что определено менее четко, в терминах того, что определено более четко, например эмоциональные состояния в метафорах телесного опыта [33, Р. 59], например «его захлестнула радость». Во-вторых, допускается, что наши представления о работе мышления вообще и научного в частности, определены очень нечетко и нуждаются в метафорах. Так, сама идея «концептуализации с помощью метафор» является примером метафорического переноса лингвистического термина «метафора» в когнитивную науку. Метафора метафоре помогает четче структурировать неясную природу понимания. В-третьих, допускается, что мы можем заимствовать теоретические ресурсы разных дисциплин для построения строгих метафор [34, Р. 30], делающих возможным решение эпистемологических задач. То есть позаимствовав «метафору» однажды, мы можем прибегать к арсеналу лингвистики, литературной теории и других дисциплин, чьи теоретические разработки могут помочь разрешить проблемы, (метафорически) сформулированные в лингвистических терминах.

1.2.1 Проблема Анкерсмита

Голландский философ Фрэнк Анкерсмит приобрел известность как последователь Хейдена Уайта. В своей первой книге («Нарративная логика», 1983) Анкерсмит прорабатывает темы, предложенные Уайтом в «Метаистории». Одиннадцатью годами позже Анкерсмит отрекается от Уайта и тропологии, понятой им как форма лингвистического трансцендентализма. Он отказывается от трансцендентализма как такового и открывает собственный проект по обустройству альтернативной интеллектуальной вселенной, свободной от влияния Декарта и Канта. Этот проект не останется пустым обещанием: спустя еще одиннадцать лет контуры новой вселенной, очерченные категориями опыта, травмы и репрезентации, будут представлены в «Возвышенном историческом опыте» (2005).

Ниже мы рассмотрим альтернативу, предлагаемую Анкерсмитом, но пока нас будет интересовать момент его отречения и логика этой философской трансформации.

Личная интеллектуальная история философа уже становится темой диссертационных работ и книг [35], где поворот, совершенный Анкерсмитом, в числе прочего объясняется «своего рода паранойей» и страстным желанием отделаться от преследующего его призрака Х. Уайта [35, Р. 64-65]. Оставим биографам психологические и иные возможные объяснения, и сосредоточимся на аргументации самого Анкерсмита, представленной во Введении к «Истории и тропологии». Именно там он формулирует претензию к уайтовскому проекту, которую в этом тексте мы называем «проблемой Анкерсмита».

Поводом для претензии становится амбивалентность тропологии. С одной стороны, задачу Уайта в «Метаистории» Анкерсмит понимает как предложение «прочитать великие произведения историков девятнадцатого века как если бы они были романами» [22, Р. 7], с другой – это не предполагает движения от науки в сторону литературы [22, Р. 9]. Тропология не подразумевает разрыва со социентистскими когнитивными идеалами, более того, Анкерсмит утверждает, что она полностью согласуется с ними в основе [22, Р. 9]. Анкерсмит опирается на тезис Уайта о способности тропов служить историку инструментом превращения чуждого в знакомое, тем, что позволяет придать значение данным [36, Р. 94]. Эта функция тропов дает возможность провести параллель между ними и категориями рассудка у Канта [22, Р. 10] – и те и другие помогают организовать мир [22, Р. 11] и приспособить его к познающему субъекту [22, Р. 12]. Поскольку вслед за Уайтом, утверждающим, что все тропы есть разновидность метафоры [37, Р. 32], Анкерсмит пользуется термином «метафора» как обозначением для тропов вообще, мы находим в Истории и тропологии следующую характеристику:

«Метафора есть наиболее мощный лингвистический инструмент, который мы имеем в нашем распоряжении для преобразования реальности в мир, адаптируемый к человеческим целям и задачам. Метафора «антропоморфизует» социальную, а иногда даже физическую реальность и, осуществляя это, позволяет нам освоить и сделать знакомой эту реальность в истинном смысле этих слов. И наконец, даже больше, чем способность метафоры превращать незнакомую реальность в знакомую, в пользу этого говорит тот факт, что метафора всегда побуждает нас рассматривать менее известную систему в терминах более известной. Превращение в знакомое поистине является сущностью метафоры» [22, Р. 13].

Метафора функционирует так же, как трансцендентальный субъект [22, Р. 12], но в интерпретации Анкерсмита из посредника между нами и реальностью она

превращается в барьер, закрывающий доступ к реальности, в нечто вроде стеклянной крышки, которой накрывают сыр для лучшей сохранности – этот образ Анкерсмит будет использовать в «Возвышенном историческом опыте». Еще чаще Анкерсмит вспоминает известную метафору Ницше о «тюрьме языка». Образы «крышки для сыра» и «тюрьмы» порождают (или обнаруживают) желание освободиться. По мнению Анкерсмита, Уайт вплотную подошел к границам тюрьмы языка (и кантианской философии), когда затронул категорию возвышенного (как того, что не поддается описанию и приспособлению к субъекту), однако не сделал шага наружу. «В отличие от Уайта, я хочу сделать это, попытавшись развеять чары кантовских трансцендентальных схем рассуждения» [22, Р. 17] – такова формула отречения Анкерсмита. Его задачей становится описать превращение знакомого в незнакомое.

1.2.2 Язык и опыт

Итак, суть проблемы Анкерсмита: метафора (и трансцендентализм) превращает незнакомое в знакомое, следовательно, встреча с незнакомым требует выхода за пределы языка (и кантовской парадигмы). Позитивной альтернативой, делающей такого рода движение возможным, для Анкерсмита становится категория опыта. Он называет её своей естественной отправной точкой еще в «Истории и тропологии» [22, Р. 19], она же оказывается центральной в его последней книге, где Анкерсмит подчеркивает наличие абсолютного разрыва между языком и опытом:

«Несовместимость языка и опыта, в том смысле, в котором здесь понимается слово “опыт”, является важной темой, проходящей через всё настоящее исследование. Между языком и опытом невозможно никакого компромисса, победа одного оборачивается неизбежным поражением другого. Поистине, они являются смертельными врагами: там, где есть язык, нет опыта, и наоборот» [38, с. 33].

Эта мысль проходит через всю книгу, порой сжимаясь до афоризма: «Там, где есть язык, нет опыта, а там, где есть опыт, нет языка» [38, с. 124]. К последней цитате Анкерсмитом сделано любопытное примечание-иллюстрация. Он находит подтверждение своей мысли у Льва Толстого в описании раненного Андрея Болконского на поле Аустерлица. Момент, когда для Болконского слова Наполеона «вот прекрасная смерть» звучат подобно жужжанию мухи, Анкерсмит комментирует так: «Наполеон, это воплощение Истории и всего того возвышенного нарратива, который начался с Французской революцией, сделался ничтожеством по сравнению с той глубиной, с какой тяжелораненый Болконский переживал свои последние

мгновения. Так что там, где есть нарратив, нет опыта и наоборот» [38, с. 549].

Любопытно это примечание двумя парадоксами. Первый состоит в том, что противопоставление языка опыту показано на примере из художественной литературы, то есть вотчины языка, которая должна априорно исключать для нас доступ к опыту. Если язык отрицает опыт, иллюстрация, которую приводит Анкерсмит, не может существовать как иллюстрация противопоставлению языка и опыта, ведь в ней заведомо будет представлен только язык. Впрочем, парадокс разрешим: Анкерсмит допускает и более сложные отношения языка и опыта чем просто взаимное отрицание. Мы вернемся к этому ниже.

Второй парадокс сложнее, так как связан не с конкретным примечанием, а со всей проблемой Анкерсмита. Дело в том, что произведения Толстого – источник примеров для литературоведа Виктора Шкловского, пояснявшего с их помощью свою идею остранения. Сутью остранения как раз является разрушение автоматизма восприятия, превращение знакомого и привычного в незнакомое и странное. Эффект остранения, как показывает Шкловский, не просто достижим средствами языка, но является сутью искусства и в частности словесного (поэтического) творчества. Шкловский прямо возражает против того, что поэтические образы-тропы служат приспособлению мира к познающему субъекту: «Целью образа является не приближение значения его к нашему пониманию, а создание особого восприятия предмета, создание виденья его, а не узнавания» [39, с.18].

Таким образом, примеры из Толстого равно годятся для иллюстрации тезиса о несовместимости языка и опыта (Анкерсмит) и демонстрации того, как язык может освежить наш взгляд и вернуть остроту восприятия (Шкловский) – способность, которой для Анкерсмита обладает только опыт. Остановимся подробнее на работе остранения.

1.2.3 Работа остранения

Остранение есть называние вещи необычным именем [40, с. 80] чем достигается обновление её восприятия, деавтоматизация, разрушение привычки лишь узнавать вещь по общим контурам, не вглядываясь в неё. Произведения Толстого, как широко известные, служат Шкловскому постоянным источником примеров остранения: «Самый обычный прием у Толстого — это когда он отказывается узнавать вещи, и описывает их, как в первый раз виденные, называя декорации («Война и мир») кусками раскрашенного картона, а причастие — булкой, или уверяя,

что христиане едят своего бога» [40, с. 80].

Границы применения приёма по Шкловскому оказываются предельно широки: остранение есть почти везде, где есть образ [39, с. 17]. А образ есть (поэтический) троп. Шкловский различает поэтическое и прозаическое использование образов-тропов [39, с. 10], но только первое выполняет функцию деавтоматизации восприятия, второе же есть средство мышления, оно помогает объединять вещи в группы (что должно упрощать нам их восприятие, то есть способствует автоматизации, явления, противоположного остранению). Остранение не является свойством тропов, оно лишь возникает при особом, поэтическом их использовании.

Среди примеров, приводимых Шкловским, мы находим образцы остранения, выполненные с помощью разных тропов. Так, метафоричны образы замка и ключа для обозначения половых органов в загадках [39, с. 18]. Жующий влажный рот в картине боя у Толстого есть выделение и непропорциональное подчеркивание одной детали [40, с. 80], образ метонимичен. А остранение пословиц в речи персонажа Диккенса достигается иронией, так как пословицы нарочито неуместны и не совпадают со смыслом происходящего («Сон дороже всего, как сказала одна бедная девушка перед тем, как выпила опия от несчастной любви» [41, с. 110]).

Но не всякое называние вещи необычным именем разрушает автоматизм восприятия и превращает вещь в словно впервые увиденную. Для того чтобы троп работал не как прозаический, а как поэтический, должно выполняться еще одно условие: выведение вещей из их контекста [39, с. 17], перемещение в новый смысловой ряд:

«Вещи бунтуют у поэтов, сбрасывая с себя старые имена и принимая с новым именем — новый облик. Поэт употребляет образы — тропы, сравнивая; он называет, положим, огонь красным цветком или прилагает к старому слову новый эпитет или же, как Бодлер, говорит, что падаль подняла ноги, как женщина для позорных ласк. Этим поэт совершает семантический сдвиг, он выхватывает понятие из того смыслового ряда, в котором оно находилось, и перемещает его при помощи слова (тропа) в другой смысловой ряд, причем мы ощущаем новизну, нахождение предмета в новом ряду» [40, с. 79-80].

Единственным контекстом, который не устраняется, остается контекст других произведений искусства, прежних, задающих устаревшие формы видения, уже поглощенные автоматизацией: «Новая форма является не для того, чтобы выразить новое содержание, а для того, чтобы заменить старую форму, уже потерявшую свою

художественность» [39, с. 31]. Так просторечье Пушкина было контрастом к привычному в его время торжественному стилю Державина [39, с. 21].

Если, упрощая, описать остранение как перемещение объекта из привычного контекста в иной, где возможно его неавтоматизированное восприятие, сопровождающееся названием объекта новым именем, то окажется, что эта схема близка к решению, предлагаемому Анкерсмитом в «Возвышенном историческом опыте» (Эта параллель на уровне эпистемологического принципа уже отмечалась [42]).

1.2.4 Остранение и возвышенный исторический опыт

Попытку Анкерсмита порвать с трансцендентализмом, изложенную в «Возвышенном историческом опыте», коллеги встретили достаточно скептически [43]. Реакция, вероятно, ожидаемая: за два года до выхода книги Анкерсмит сетовал на то, что в его поколении «действительно оригинальная работа стала невозможной» [44, Р. 421]. Мы отчаянно пытаемся отыскать заброшенные когда-то прежде пути, только чтобы обнаружить, что кто-то нас уже опередил, - писал он. В этом случае Анкерсмита до определенной степени опередил Шкловский. С одной стороны, механика превращения в незнакомое у Анкерсмита и работа остранения у Шкловского обнаруживают ряд существенных сходств, о которых пойдет речь ниже (У Анкерсмита даже есть неологизм, симметричный «остранению», раз-узнавание, *unknowing* [45, Р. 189]). С другой, имеется значимое различие. Оно может быть выражено в метафоре, заимствованной из грамматики, это разница между активным и пассивным залогом. То, что описывается Анкерсмитом как случающееся, происходящее с субъектом, не зависящее от его воли («исторический опыт <...> внезапно захлестывает историка и не приходит по заказу» [38, с. 391]), у Шкловского даётся как приём, используемый осознанно и целенаправленно – хотя осознание может быть заботой не автора, а его критиков, цель же принадлежать не конкретному литератору, а искусству вообще.

В своей работе Анкерсмит проводит параллели между тремя видами опыта: эстетическим, историческим и опытом возвышенного, вычлняя в них общие характеристики. Подчеркнем те из них, которые сближают Анкерсмита со Шкловским.

Во-первых, говоря об опыте, Анкерсмит имеет в виду не отдельные кирпичики чувственных данных, собираемых в целое по некоторому теоретическому проекту [38,

с. 176]. На примере восприятия произведений искусства он говорит об опыте восприятия целого (но этот же принцип сохраняется, если речь идет о восприятии прошлого): «Когда вы смотрите на картину, то видите не множество мельчайших мазков, которые вы потом каким-то образом собираете вместе, - вы видите картину целиком, в её полноте и получаете опыт как таковой» [38, с. 178]. Восприятие целого первично, лишь спустя время «за дело берется сознание, и только после этого мы осознаем, благодаря способности к абстракции, детали картины» [38, с. 348]. Причем это первичная, досознательная стадия чистого опыта присутствует даже тогда, когда картина предстает перед нами в странном ракурсе – например, вверх ногами или боком, так как представление о «правильном» положении уже требует анализа, то есть выхода за рамки чистого опыта.

Шкловский оперирует такой единицей анализа, как художественный образ, чья целостность, в отличие от опыта, не требует специальных оговорок. Параллелью Анкерсмицу у Шкловского является не столько целостность, сколько неожиданный ракурс рассмотрения – сверху, сбоку. Для Шкловского «повернуть на бок» - один из приемов остранения. Он цитирует по памяти фрагмент из «Записной книжки» Чехова, где персонаж много лет ходит мимо вывески, которую автоматически читает как «Большой выбор сигов», автоматически же удивляется написанному и автоматически проходит мимо. Только когда рутина оказывается нарушенной, вывеска снятой и поставленной у стены боком, персонаж выходит из режима узнавания и видит надпись – она гласит «Большой выбор сигар» [40, с. 79]. При этом память подводит Шкловского – как показывает Юрий Цивьян, он объединил в цитате эпизод из «Записной книжки» с воспоминаниями Кандинского [46, Р. 27]. В оригинальном тексте Чехова вывеску не снимают и не переворачивают на бок. Но именно собственная картина, случайно увиденная в неожиданном ракурсе, боком, однажды поразила Кандинского, и опосредованно – Шкловского. Анкерсмит, говорящий о возвышенном историческом опыте и Шкловский, говорящий об остранении, отсылают к одной и той же доаналитической стадии восприятия целого.

Во-вторых, в тексте Анкерсмита обнаруживается параллель «называнию необычным именем» - характеристике, которую Шкловский использовал в качестве краткого определения остранения [40, с. 80].

Здесь нам нужно ненадолго вернуться к неоднозначности отношений языка и опыта у Анкерсмита. С одной стороны, как ясно из приведенных ранее цитат, опыт и язык, по Анкерсмицу, взаимно отрицают друг друга. С другой, язык все же может

быть мостом к опыту, он способен не только отнимать, но и возвращать нам мир. Свою концепцию исторического опыта Анкерсмит развивает, отталкиваясь от нескольких абзацев, написанных на эту тему Хёйзингой. На последнего, как указывает Анкерсмит, оказало сильное влияние творчество теоретика литературы сенситивиста Лодевейка ван Дейсселя. Ван Дейссель полагал, что задачей литературы является не производство достоверных копий мира, а передача читателю чувства реальности, ощущения мира [38, с. 194]. «Сенситивизм <...> ставит перед собой парадоксальную и саморазрушительную задачу: посредством (литературного или поэтического) языка преодолеть барьеры между языком и миром, неизбежно творимые самим языком. В итоге это выглядит как разрушение языка языком же» [38, с. 194]. Иллюстрацией для такого саморазрушения может служить пример с парадоксальным высказыванием Токвиля, назвавшего созданные Французской революцией правительства более хрупкими и одновременно более могущественными. «Однако, если мы бросим взгляд на историческую реальность, то с удивлением обнаружим, что это утверждение совершенно верно: постреволюционные правительства действительно отличались большей хрупкостью и большим могуществом» [38, с. 393-394], и именно парадокс (из всех фигур речи способность довести читателя до границ языка Анкерсмит приписывает только парадоксу) в словах историка помогает увидеть этот факт.

Итак, язык способен привести нас к собственным границам, указать на недостаточность наших эпистемологических схем, здесь он прощается с нами, передав нас в руки чистого опыта. Обратная операция – возврат к языку – является неизбежной, так как у опыта нет голоса, он нуждается в языке, чтобы обрести свое выражение» [38, с. 36], а поскольку для перевода опыта в язык не существует схем и правил, эта операция требует от ученого таланта поэта [38, с. 325] или художника. Гением же в сфере искусства признается тот, кто способен передать художественными средствами уникальность своего опыта и тем самым «обучить» такому способу восприятия других [38, с. 152]. Новый способ видения прошлого (Средневековья у Хёйзинги, предреволюционной Франции у Токвиля) или новый способ прочтения исторических текстов (Хейден Уайт), переданные в языке, выступают аналогами «называния вещи новым именем» у Шкловского.

В-третьих, оба автора обращают внимание на разрушение контекста. Шкловский говорит о семантическом сдвиге [40, с. 79], выведении из контекста [39, с. 17]. Анкерсмит утверждает, что исторический опыт и контекстуализация исключают

друг друга [38, с. 186]. Деконтекстуализация обнаруживает себя в стиле и структуре «Осени Средневековья» Хёйзинги [38, с. 198]: отсутствие истории с началом и концом, неологизмы, отступления от норм грамматики – «прямота исторического опыта подразумевается самим текстом», говорит Анкерсмит. Шкловский отметил бы, что всё это средства разрушения автоматизма восприятия. Деконтекстуализация проявляется в понятии Querschnitt Буркхардта, (то есть «поперечных срезов», описаний, разрывающих привычную хронологическую последовательность) [38, с. 236]. Субъект освобождается от всех структур, контекстуализирующих его опыт, даже от такого контекста, как себя самого [38, с. 213]. Предельная форма исторического опыта – это отказ от прежней идентичности [38, с. 316] в пользу новой, поскольку исторический опыт – это ситуация не применения шаблонов (и шаблонных идентичностей в том числе), но ситуация их выработки. «Шаблоны не применяются, а вырабатываются» [38, с. 398] – подчеркивает Анкерсмит. «Искусство есть способ пережить деланье вещи, а сделанное в искусстве не важно» [39, с.12] – симметрично акцентирует Шкловский.

Наконец, в-четвертых, деконтекстуализация у обоих авторов не абсолютна, один из видов контекста сохраняется. Это традиция, которую ломает новая художественная форма или исторический опыт. У Шкловского новая форма приходит, чтобы заместить прежнюю, не освежающую более взгляда [39, с. 31], как стиль Пушкина сменяет стиль Державина [39, с. 21]. Исторический опыт Анкерсмита нуждается в детерминирующих его трансцендентальных схемах для того, чтобы их преодолеть [38, с. 383-384], поэтому в итоге «нет возвышенного без трансцендентальной философии и наоборот» [38, с. 462].

Резюмируя сопоставление: и у Шкловского, и у Анкерсмита, превращение знакомого в незнакомое включает подобные элементы. (1) Деконтекстуализация с сохранением одного вида контекста – альтернативных шаблонов восприятия. (2) Предъявление нового способа восприятия в языке. (3) Восприятие вне схем и шаблонов. Отмеченное выше различие между решениями Анкерсмита и Шкловского («активный» и «пассивный залог» их схем) связан с выбором центрального элемента. Как видно из формулировки краткого определения остранения, Шкловский отталкивается от выбора литератором нового имени для описываемой вещи, и потому вся схема выстраивается «в активном залоге», как осознанное целенаправленное действие. Для Анкерсмита центральной становится свежесть восприятия, и потому опыт случается помимо воли, «в пассивном залоге».

При этом очевидна возможность третьего решения вопроса о превращении знакомого в незнакомое, где ключевой станет деконтекстуализация. Такое решение существует, и нам придется обратиться к теории коммуникации за ресурсом для построения строгих метафор, делающих возможным его описание.

1.2.5 Двойное послание

Теория двойного послания Г. Бейстона (ДП-теория) изменялась и дорабатывалась. В первых публикациях, например, *The Group Dynamic of Schizophrenia* и более ранних, под ДП-ситуациями понимались те, в которых имеется противоречие между сообщениями, получаемыми на разных уровнях коммуникации. Иллюстрацией противоречия может служить следующий эпизод: «Как ваши дела?» – вопрос задается на ходу, спрашивающий проходит мимо, не дождавшись ответа. Интерес к собеседнику, который демонстрируется на вербальном уровне (Как дела?), отрицается на невербальном (проходит мимо, не дожидаясь ответа). Курьез превращается в ситуацию двойного послания, если «жертва» не может выйти из игры (например, обратив внимание на парадоксальность поведения партнера по коммуникации или прекратив взаимодействие в будущем) и вынуждена принимать оба противоречащих друг другу сообщения как истинные [47, Р. 210]. Позже, в 1969 г., Бейтсон признавал, что ранние работы содержат ошибки: «Мы говорили в той статье так, как будто двойное послание - это то, что может быть сосчитано. Конечно, это чепуха. Нельзя сосчитать летучих мышей в кляксе, поскольку их там нет. Тем не менее, некоторые “с мышами в голове” могут “увидеть” нескольких» [48, Р. 277]

Здесь мы пользуемся версией ДП-теории 1969-го года, когда двойное послание было переосмыслено как склонность индивида воспринимать сообщение одновременно в двух контекстах, каждый из которых задаёт различное прочтение сообщения. Эта склонность получила название «трансконтекстуальный синдром». «Падающий лист, приветствие друга, “дикий шиповник у реки” не есть “только это и больше ничто”. Внешний опыт может быть фреймирован в контекст сна, внутренняя мысль может проецироваться в контексты внешнего мира» [48, Р. 277]. Человек, обладающий трансконтекстуальным синдромом, любое сообщение видит как знаменитое изображение «утки-кролика» Витгенштейна, и пребывает в постоянном замешательстве относительно того, следует ли ему реагировать на сообщение как на утку или как на кролика. Синдром назван «трансконтекстуальным», поскольку именно контекст определяет, какая интерпретация сообщения будет правильной.

Экран кинотеатра является контекстом, который сообщает, что не стоит бояться движущегося на нас поезда. Рельсы под ногами и вокзал неподалеку задают иной контекст, читать сообщение «на меня движется поезд» в нем следует иначе. Но в ДП-ситуациях «жертва» не имеет фиксированного контекста, позволяющего непроблематично считать сообщение. Она находится в ситуации, когда отсутствует контекст, делающий возможным выбор интерпретации. Если из игры выйти невозможно, ситуация может обернуться тяжёлым травматическим опытом.

Доклад «Двойное послание» 1969-го года завершается рассказом об эксперименте по обучению самки дельфина. Животное обучали демонстрировать ту единицу поведения, которую подкрепляет тренер. Единица поведения изменялась каждый день, поскольку изучалось обучение новому, а не закрепление прежде усвоенного поведения. Но самка дельфина не могла понять, почему вчера она получала рыбу за удар хвостом, а сегодня – за прыжок. «Она научилась некоторым простым правилам, связывающим ее действия, свисток, демонстрационный бассейн и тренера в паттерн, т.е. в контекстуальную структуру, набор правил, по которым группируется информация. Но этот паттерн годится только для единичного эпизода в демонстрационном бассейне. Для того чтобы справиться с классом таких эпизодов, она должна сломать этот паттерн. Существует больший контекст контекстов, который ставит ее в тупик» [48, Р. 281].

У самки дельфина нет контекста, задающего правило для понимания ситуации. И она вынуждена «открыть» это правило. В течение четырнадцати экспериментальных сессий, когда животное бесконечно повторяло единицы поведения, подкрепляемые прежде, оно находило новые лишь случайно и переживало постоянный сильный стресс. «В перерыве между четырнадцатой и пятнадцатой сессиями самка дельфина казалась очень возбужденной, и, когда она появилась на сцене в пятнадцатый раз, она устроила длительное представление, включающее восемь ярко выраженных единиц поведения, четыре из которых были совершенно новыми, т.е. никогда прежде не наблюдались у этого вида животных» [48, Р. 282]. Бейтсон замечает, что ситуации двойного послания, как та, в которую попала самка дельфина, могут с одной стороны, стать причиной психического расстройства (ДП-теория возникла при изучении факторов, влияющих на развитие шизофрении), с другой, могут способствовать творчеству.

Это еще один ответ на вопрос, как возможно превращение в незнакомое. Должен отсутствовать контекст, в котором сообщение непроблематично считывается.

ДП-ситуации обладают общим свойством с опытом Анкерсмита, для которого и исторический опыт и опыт возвышенного – это переживание когнитивного тупика: «Возвышенное сохраняется, пока сохраняется тупик, и исчезает в момент завершения, когда его заново истолковывают как нечто, приносящее нам новое прозрение о мире или о самих себе» [38, с.227]. Опыт двойного послания – это опыт ситуации, где «эпистемологические инструменты, обычно нами используемые для осмысления мира, внезапно оказываются более этой задаче не соответствующими» [38, с.246].

С работой остранения у Шкловского ДП-ситуации сближает неавтоматизированное восприятие, а также разрушение прежнего имени вещи, которое затрудняло ее видение и оставляло читателя на уровне узнавания. Детальное и подробное описание порки у Толстого без использования привычного названия этой будничной ситуации приводится как пример остранения [39, с. 14]. В терминах Бейтсона читатель, которому представлены детали неназванной ситуации, вынужден достроить контекст, позволяющий ему считать сообщение, то есть подобрать имя для неназванного. Это искусственное повторение в миниатюре той ситуации, в которую попала самка дельфина.

Теперь нам известны три решения проблемы Анкерсмита: остранение, возвышенный исторический опыт и ДП-ситуации. Во всех присутствует интенсивное обостренное восприятие, деконтекстуализация и выработка нового способа понимания, отрицающего прежние. Но в каждом случае в центре внимания оказывается только один из трех компонентов.

При этом все три решения базируются на различиях, компоненты которых взаимно исключают друг друга: язык у Анкерсмита противостоит опыту, поэтическое использование тропов у Шкловского – прозаическому. В теории коммуникации Бейтсона разрыв между коммуникативными уровнями является абсолютным: «Существует пропасть между контекстом и сообщением (или между метасообщением и сообщением), которая имеет ту же природу, что и пропасть между вещью и словом или знаком, означающим ее, или между членами класса и именем класса. Контекст (метасообщение) квалифицирует сообщение, но никогда не может встретиться с ним на равных основаниях» [49, Р. 252].

Во всех решениях каждое различие обладает стороной, ответственной за превращение знакомого в незнакомое. У Анкерсмита это опыт, у Шкловского – поэтическое использование тропов. Противоположная сторона различия ответственна за обратную операцию, т.е. превращение в знакомое. Схема Бейтсона

сложнее. Нельзя сказать, что за превращение в знакомое отвечает контекст. *Наличие* одного единственного, бесконкурентного контекста отвечает за автоматическое, непроблематичное считывание сообщения, *отсутствие* его оборачивается затруднением в получении информации. Здесь работает не оппозиция контекст – сообщение, а оппозиция наличие – отсутствие контекста.

Задача этого текста – предложить еще одно решение проблемы Анкерсмита, выстроенное на основе иной дихотомии, а именно диады метафора-метонимия Романа Jakobsona. Насколько неслучайным является обращение к нему, показано ниже.

1.2.6 Отсылки к Jakobsonу

И Шкловский, вводя различие поэтического и прозаического использования тропов, и Анкерсмит, указывая на ограничения тропологии Уайта, делают оговорки, которые связаны с именем Романа Jakobsona.

Шкловский приводит пример прозаического использования тропа («Эй, шляпа, пакет потерял!» - окрик прохожего в шляпе) и поэтического («Эй, шляпа, как стоишь!» - замечание солдату в строю), добавляя при этом: «В первом случае слово “шляпа” было метонимией, в другом метафорой. Но обращаю внимание не на это» [39, с.10]. Таким образом, для Шкловского прозаическое и поэтическое использование языка не привязано к отдельным тропам, тропы не разделены функционально на «остраняющие» и «автоматизирующие восприятие». Жующий влажный рот в картине боя у Толстого – крупно выхваченная и акцентированная деталь панорамы, метонимия – для Шкловского такой же пример остранения, образец поэтического использования языка, как и метафоры ключа и замка для обозначения половых органов в загадках.

Связку проза-метонимия и поэзия-метафора сформирует Роман Jakobson. «Существуют стихи метонимической текстуры и прозаические повествования, пересыпанные метафорами (яркий образец - проза Белого), но, несомненно, самое тесное и глубокое родство связывает стих с метафорой, а прозу с метонимией» – напишет он в 1935 в статье о прозе Пастернака [50]. Jakobson использовал термины метафора и метонимия очень гибко. Как показывает Т.В. Цвигун, «метафора и метонимия для него — это: а) тропы; б) тропы и фигуры одновременно; в) не тропы и не фигуры, а риторические метакатегории; г) модели поэтики; д) модели дискурса; е) модели мира, — или, иными словами, общесемиотические универсалии» [51]. Метафора и метонимия – это способы обозначить проявления принципов сходства и

смежности соответственно на разных уровнях языка и коммуникации.

В классическом тексте о типах афазии Якобсон соотносит метафору с операциями селекции и субституции, то есть выбора языковой единицы и замены одной единицы другой, метонимия же соотносится с комбинацией языковых единиц друг с другом и их связью с единицами другого уровня (контекстная композиция). Поскольку метафора привязана к выбору знака, она является по существу метаязыковой [52, с. 129]. Эта особенность проявляется в обилии литературы о метафоре (исследователь строит метаязык для описания объекта и в силу того, что это метаязык, он лучше схватывает работу метафоры, чем метонимии). Эта же особенность проявляется в «метафоричности» поэзии («поскольку в поэзии внимание сосредоточено на знаке» [52, с. 129]) и метонимичности прозы (ориентированной на практику, то есть на референт, а не на знак). Еще одной оппозицией, параллельной метафоре и метонимии для Якобсона является пара романтизм-реализм.

Связь (романтической) поэзии с метафорой и (реалистической) прозы с метонимией станет широко известна к тому времени, когда Хейден Уайт будет работать над «Метаисторией». Выбирая сетку различений из четырех тропов, Уайт отстраивается от Якобсона, Леви-Стросса и Лакана, использующих в теоретической работе бинарную оппозицию метафора-метонимия [37, Р. 31-32]. Основания этого выбора обозначены самим Уайтом в примечаниях: «сходства между поэтической и дискурсивной репрезентациями реальности столь же важны, сколь и отличия между ними» [37, Р. 32]. Перед Уайтом стояла задача, прочесть великие исторические произведения как если бы они были романами, то есть разрушить оппозицию научного и художественного текста. Поскольку научный текст соотносится с реалистическим и прозаическим полюсом, а художественный – с поэтическим и романтическим, диада Якобсона не помогла бы Уайту решить его задачу, напротив, затруднила бы её. Для читателя, прочно усвоившего различение Якобсона, классификация историков по склонности к метафоре или метонимии означала бы их разделение на поэтов и прозаиков, на романтиков и реалистов, что опасно соседствует с разделением на более и менее объективных, достоверных и правдивых. Целью же Уайта было уйти как можно дальше от вопроса о реалистичности (а также связанными с ней объективностью и истиной) и поставить проблему в совершенно иной плоскости. Уайт берет на вооружение систему различений из четырех тропов, которая, как он уверен, должна дать ему более гибкую классификацию литературных стилей:

«Использование четвертичного анализа фигуративного языка имеет то дополнительное преимущество, что позволяет сопротивляться дуалистической концепции стилей, которая вытекает из двухполюсной концепции стиля и языка. Фактически четвертичная классификация тропов позволяет использовать комбинаторные возможности дуально-бинарной классификации стилей. Используя её, мы не вынуждены, как это пришлось Якобсону, делить историю литературы XIX века между поэтически-романтически-Метафорической традицией, с одной стороны, и реалистически-прозаически-Метонимической традицией - с другой. Обе традиции можно рассматривать как элементы единой конвенции дискурса, в котором представлены все тропологические стратегии языкового словоупотребления, но в разной степени у различных писателей и мыслителей» [37, Р. 34].

Дополнительной защитой от новых разделений в духе Якобсона Уайту служит отсутствие в его аналитической схеме жестких границ между тропами, как это позже отметит Анкерсмит [22, Р. 11]. Метафора, метонимия, синекдоха и ирония взаимозаменяемы, они сменяют друг друга подобно стадиям сознания человечества в «Новой науке» Вико [37, Р. 32] и стадиями когнитивного развития ребенка у Пиаже [36, Р. 22]. Это значит, что они являются разными вариантами выполнения одной и той же когнитивной функции, а именно схватывания и подготовки для сознательного постижения содержания опыта, сопротивляющегося описанию [37, 31]. В этом смысле все тропы есть одно, что и позволяет Уайту сказать: «Ирония, Метонимия и Синекдоха – это типы Метафоры» [37, 32].

Стремление Уайта к большей гибкости на уровне анализа текстов оборачивается меньшей гибкостью его системы различений на метауровне. Метафора и метонимия Якобсона выполняют разные функции (селекция и субституция против комбинации и контекстной композиции), тропы Уайта – одну, хотя и разными способами. То, что на уровне анализа текстов выглядит как расширение возможностей исследователя (замена двоичной системы четверичной), на метауровне оказывается упрощением теоретической модели (выполняется одна функция вместо двух).

У Шкловского была оппозиция прозаического и поэтического использования тропов, где первое отвечало за превращение незнакомого в знакомое, а второе открывало возможность обратной операции, но выбор Уайта в пользу четверки тропов, выполняющих одну когнитивную функцию, что создало базис для возникновения проблемы Анкерсмита.

Формулируя свои претензии к тропологии, Анкерсмит вынужден оговориться:

«Я ограничусь анализом метафоры, осознавая, что такое ограничение не бесппроблемно. В недавнем прошлом некоторые авторы подчеркивали глубокое различие между отдельными тропами <...>. Однако достаточно отметить, что тропы в Метаистории не играют такую роль. Здесь все тропы имеют сопоставимые когнитивные функции – этот факт отражен в заявлении Уайта о том, что в последовательности тропов можно даже выявить некоторую внутреннюю логику, которая более или менее естественным образом ведет нас от одного тропа к другому (включая иронию). Во всей тропологии Уайта мы нигде не обнаружим непреодолимого барьера, отделяющего один троп (или более) от других» [22, Р. 11].

Именно сопоставимые когнитивные функции тропов, которые потребовались Уайту для отстройки от диады Якобсона, делают возможной (и неизбежной) критику лингвистического трансцендентализма в том виде, в котором ее сформулировал Анкерсмит. Поскольку уже у Уайта сфера языка противопоставляется сфере опыта, который тропы призваны подготовить для постижения, Анкерсмит, наследующий системе различений Уайта, вынужден соотнести иную когнитивную функцию, превращение знакомого в незнакомое, именно со сферой опыта.

Оговорка Анкерсмита о глубоком различии между отдельными тропами, полагаемом некоторыми авторами в недавнем прошлом, является непрямой отсылкой к Якобсону. Без его параллелей между метафорой и (романтической) поэзией, метонимией и (реалистической) прозой, обусловивших теоретический выбор Уайта, проблема Анкерсмита, вероятно, никогда не была бы поставлена.

1.2.6 Решение на основе различения Якобсона

Выше было сказано, что превращение знакомого в незнакомое в каждом из трех рассмотренных ранее случаев связано с одной из сторон проводимого различения. Опыт, поэтическое использование тропов и наличие контекста отвечают за эту операцию у разных авторов. Соотнесение этих решений с различием Якобсона дает парадоксальную ситуацию. Если соотносить диаду со схемой Шкловского, то метафорический полюс оказывается близок поэтическому использованию тропов (две функции метафорического полюса, селекция и субституция, отвечают за выбор для вещи нового имени), а метонимический полюс – прозаическому использованию (контекстная композиция обеспечивает связь нижнего уровня языка с верхним, обеспечивая непроблематичное чтение сообщения). Это полностью соответствует привязке тропов к видам дискурса самим Якобсоном: поэзия

метафорична, проза метонимична. При наложении на схему Шкловского метафора Jakobsona должна отвечать за превращение в незнакомое, а метонимия – в знакомое.

Но если диадy соотнести со схемой Анкерсмита, то метафорический полюс окажется связан с языком, который приспособливает к нам мир, а метонимический – с опытом. В «Истории и тропологии» Анкерсмит прямо отождествляет метафору с языком и трансцендентализмом вообще. В опыте же познающий субъект оказывается рядоположен познаваемому объекту, находится с ним в отношениях смежности [22, с. 277], и именно в опыте знакомое предстает незнакомым. То есть при наложении на схему Анкерсмита функции полюсов диады Jakobsona меняются местами, на этот раз метафорический полюс отвечает за превращение в знакомое, а метонимический за обратную операцию.

Этот парадокс заострится, если мы соотнесем полюса диады с различием Бейтсона. «Любая языковая единица одновременно выступает и в качестве контекста для более простых единиц и/или находит свой собственный контекст в составе более сложной языковой единицы» [53, с. 114] – это функция контекстной композиции, относящейся к метонимическому полюсу. Но для Бейтсона непроблематичной является коммуникативная ситуация, где контекст *есть*. То есть языковая единица более высоко уровня выбрана и занимает свое место, а за выбор языковой единицы отвечает метафорический полюс. Трансконтекстуальный синдром, описанный Бейтсоном, это ситуация конкуренции контекстов, заставляющих нас видеть и утку, и кролика. Это отсылает к функции субституции, то есть замены одной языковой единицы другой, к метафорическому полюсу. Причиной *отсутствия* контекста может быть разрушение контекстной композиции, метонимической функции, у афатика, страдающего ее нарушениями наблюдается тенденция к отмене иерархии языковых единиц, он остается способен различать либо только слова, либо только фонемы [53, с. 125].

Ни одной из сторон диады Jakobsona невозможно приписать операцию превращения знакомого в незнакомое. Но эту операцию можно попытаться описать, если использовать различения внутри диады, то есть селекцию, субституцию, контекстную композицию и комбинацию.

Анкерсмит обращается к своему субъективному опыту восприятия орнамента на обоях и описывает его стадии [38, с. 397]. Сначала, на доаналитической стадии, присутствуют только чистые формы, которые переплетаются друг с другом. Одновременно имеет место игра воображения, которое, освободившись от

предписанных схем, примеряет к переплетающимся формам новые способы сборки, придания смысла. В конструирование смысла могут вовлекаться как элементы рисунка, так и пространство фона, случайные изъяны стены, край занавесок – выбор строительного материала неограничен. В какой-то из моментов вырабатывается новый шаблон восприятия, смотрящий на этой стадии может сказать, что он нечто видит, опыт находит выражение в языке.

Стадия восприятия чистых форм может быть соотнесена с комбинацией в системе различий Якобсона, игра воображения, «подбирающего» способы понимания – с селекцией, а последняя стадия, при которой возможно название – с восстановлением работы контекстной композиции. Ту же задачу необходимо выполнить «жертве» двойного послания, чтобы сконструировать задающую контекст единицу более высокого уровня. В работе остранения у Шкловского название писателем вещи новым именем соотносимо с субституцией (сценические декорации заменяются на куски картона). Последовательная субституция, система замен, правило которых не известно, вынуждает читателя искать его, достраивать отсутствующую единицу более высокого уровня, разрывает привычные контекстные композиции.

Превращение знакомого в незнакомое в терминах Якобсона оказывается динамическим процессом. Эту функцию нельзя приписать одному из полюсов диады. Ее нельзя приписать и паре внутренних различий, объединяющих оба полюса, например (метафорическая) селекция + (метонимическая) комбинация, хотя именно пара комбинация-селекция хорошо описывает свободную игру воображения в описании опыта у Анкерсмита. Скорее, превращение в незнакомое соответствует активной, изменяющейся, подвижной связи двух полюсов, а превращение в знакомое – их статичной, устойчивой связи.

В 60-е Якобсон критично высказывается по поводу идеи остранения. В предисловии к «Теории литературы» он пишет, что было бы ошибкой считать сутью формалистской мысли клише о задаче искусства освежить наше восприятие реальности и деавтоматизировать его – при этом Якобсон прямо называет остранение. «На самом деле суть следует искать в поэтическом языке. В динамическом соотношении между означающим и означаемым, между знаком и концептом» [54, Р. 101].

Это возражение против простых решений может пригодиться не только лингвистам и литературоведам. Современные дискуссии о смене метафорического способа мышления метонимическим [23] предполагают как раз простое решение.

Если мы действительно пользуемся различием Якобсона как строгой метафорой, выбору одной из стратегий в ущерб другой должна соответствовать одна из форм афазии, то есть патология речи, а в переносе на теоретическую работу – патология мышления. Но если мы, занимаясь рефлексией социальной теории, хотим избежать этой болезни, а также эпистемологических тупиков, на которые нам успели указать историки, мы можем воспользоваться системой различения Якобсона, гораздо более гибкой, чем полагал Хейден Уайт.

2 Два полюса теоретического стратегирования: схема анализа теоретических стратегий на основании диады р. Якобсона

Дальнейшее движение к пониманию специфики и работы метонимической стратегии теоретизирования потребует от нас обращения к ресурсам лингвистики, к диаде метафора-метонимия Р. Якобсона. Мы обращаемся к диаде Якобсона и, дополнив ее бейтсоновскими решениями, используем для анализа «грамматики» теоретизирования, сформулировав различие метафорической и метонимической стратегий теоретизирования.

Выше было показано, что отказ от диады Якобсона стал причиной критики схемы Уайта и появления проблемы Анкерсмита, а решение этой проблемы потребовало возвращения к диаде в иных терминах. Поэтому, выстраивая схему анализа социологических теоретических работ, мы учтем критику уайтовского проекта и возьмем за основу не четверку тропов, выполняющих однотипные когнитивные функции, а диаду Якобсона, предполагающую наличие двух полюсов языка и речи, а в нашем случае – двух полюсов теоретизирования.

Взять за основу различие Р.Якобсона значит постулировать по аналогии с двумя полюсами языка наличие двух полюсов теоретизирования, метафорического и метонимического. В модели Якобсона разрушение одного из полюсов оборачивается афазией, нарушением речи. В переносе на научную работу это означает, что утрата одного из полюсов приводит к конструированию непригодного теоретического аппарата, своего рода афазии теоретического высказывания. Для Якобсона баланс между полюсами уникален, он задает индивидуальный стиль: поэзия отличается от прозы некоторым смещением к метафорическому полюсу, кубизм от сюрреализма – своей большей метонимичностью [52, с. 127]. Разные пропорции метафорических и метонимических связей специфичны для разных авторов. Мы продолжим эту линию и добавим к списку теоретические проекты, научные школы и исследовательские стили. Они могут быть разделены, в зависимости от того, какая пропорция метафорических и метонимических связей для них характерна.

Следуя за Якобсоном, мы принимаем, что операции, составляющие метафорический полюс есть селекция (выбор языковой единицы) и субституция (замена оной единицы на другую), а метонимический – комбинация (составление цепочек языковых единиц) и контекстная композиция (выстраивание иерархической

последовательности метаконтекст-контекст-языковая единица). Но в лингвистике селекции и субституции, как и комбинации и контекстной композиции подлежат языковые единицы. Мы должны ответить, что является аналогом языковой единицы в теоретической работе.

2.1 Сообщения как аналог языковых единиц в теоретической работе

Для решения этой задачи воспользуемся дополнительным ресурсом, теорией коммуникации Г. Бейтсона: «Сперва необходимо подчеркнуть, что в мире коммуникации единственные релевантные сущности ("реальности") - это сообщения (я включаю в этот термин части сообщений, отношения между сообщениями, значимые пробелы в сообщениях и т.д.). Восприятие события, объекта или соотношения - реально. Это нейрофизиологическое сообщение. Но само событие или сам объект не могут войти в этот мир. Следовательно, они нерелевантны и в этом смысле нереальны» [49].

Аналогом «языковой единицы» Jakobson для нас будет «сообщение» Бейтсона. Проведение этой аналогии в частности означает, что базовая метафора исследования, его концептуальная сетка, объекты в мире, изучаемые в ходе исследовательской работы, собранные данные и их интерпретации только что были уравнены нами в статусе. Все они являются сообщениями. Продолжая аналогию с языковыми единицами, мы должны допустить также наличие разделяемого кругом участников коммуникации словаря стандартных сообщений, из которых может производиться выбор (метафорический полюс в терминологии Jakobson), и которые могут комбинироваться в цепочки сообщений (метонимический полюс Jakobson).

Теоретические модели Jakobson и Бейтсона имеют еще одну значимую для нас параллель, понятие контекста. Языковые единицы в модели Jakobson сопрягаются в иерархические последовательности, «любая языковая единица одновременно выступает и в качестве контекста для более простых единиц и/или находит свой собственный контекст в составе более сложной языковой единицы» [52, с. 113]. Подобного рода лестницу контекстов мы находим и у Бейтсона: «этот структурированный контекст также размещается внутри более широкого контекста (если хотите, метаконтекста) и эта последовательность контекстов образует открытую и, по-видимому, бесконечную серию» [49]. Коммуникация, согласно Бейтсону, устроена так, что контекст задает правило для чтения сообщения внутри контекста:

горячо говорящий и живо жестикулирующий человек «считывается» нами по-разному в контекстах «трибуна парламента» и «палата психиатрической лечебницы» даже при идентичности произносимых слов.

Каждый последующий, принадлежащий более низкому уровню контекст все более уточняет сообщение. Уточнение может достичь столь высокой степени, что возникает эффект избыточности [34, Р. 31]: мы можем точно знать, что именно было сказано собеседником, не слыша его слов, но безошибочно заключив их из контекста, так, даже еще не сняв наушники с громкой музыкой, мы, встретившись глазами с приятелем, понимаем, что его шевелящиеся губы произносят приветствие. Эффект избыточности проявляется и в иерархии языковых единиц. Так, мы скорее всего не заметим опечатку, если она заключается в перестановке букв в середине слова. На этом проявлении эффекта избыточности основаны развлекающие интернет-пользователей сообщения, наподобие: «По рзультаттам илссеовадний одонго английсокго унвиертисета, не иеemt занчнения, в кокам пряоке рсапожолены бкувы в солве. Галвоне, чотбы преавя и пслоендя бквуы блии на мсете. Осательные бкувы мгоут селдовтаь в плоонм беспорядке, все-рвано ткест чтaitся без побрелм. Пичрионй эгото ялвяется то, что мы чиатем не кдаужю бкуву по отдльенотси, а все солво цликеем».

Параллель между лестницей контекстов языковых единиц и сообщений поможет нам выстоять против очевидного возражения. Выше мы уравнили в статусе элементы, принадлежащих различным множествам, множествам «языка» и «мира», объявив вслед за Бейтсоном метафоры, концепты и объекты сообщениями. Подобное уравнивание в статусе элементов, принадлежащих различным множествам, множествам «языка» и «мира», является приемом, повергавшемся критике в философии прошлого века. Анкерсмит, отталкиваясь от Рорти, указывает на последствия привлечения подобных *tertia comparationis*. В «Эстетической политике» он объявляет своим врагом «стоицистскую установку», которую определяет как утверждение общей, единой, скрытой, но повсеместной основы (*tertia comparationis*) мира и знания о мире, реальности и познания [6, С. 93-94]. «Имея в виду эту стоическую модель, можно было бы сказать, что западная философия начиная с Декарта была по большей части непрерывным усилием по поискам удовлетворительного определения этих *tertia*» [6, С. 93]. На роль основы рассматривались такие кандидаты как «идея», «материя», «разум», «истина», «референция», «инстинкт самосохранения», «эмпатия» и др., пока не были найдены

совершенные *tertia* – «деньги» и «язык», обладающие свойством самореференциальности и не требующие новых оснований [6, С. 118]. Суть философской позиции Анкерсмита: призыв к отказу от *tertia* и утверждение пустоты, зазора, разрыва, разделяющих познание и мир в философии, изображение и изображаемое в эстетике, государство и граждан в политике, репрезентацию и репрезентируемое в общем смысле [18, С. 64]. «Мы можем говорить о репрезентации только тогда, когда имеется различие – а не тождество – между представителем и представляемым лицом» [18, С. 65] – так отстаивает Анкерсмит важную для него в этой работе категорию репрезентации, обнаруживающую ряд параллелей с метафорической точкой зрения. Мы видим мир «сквозь» репрезентации [38, С. 471], репрезентация же как продукт (картина, исторический нарратив) в терминологии теории коммуникации оказывается набором сообщений, считанных художником или ученым и представленных для считывания зрителям и читателям как вписанных в определенный контекст, поданных по заданном углом, препарированных для восприятия авторским способом. Репрезентация становится способом передать другим не передаваемый напрямую опыт. Анкерсмит отмечает, что «великим художественным гением является художник, который учит нас видеть реальность такой, какой мы не видали ее никогда прежде. Его достижение получит наилучшее выражение в терминах опыта: художник воспринял мир, природу или какую-то сторону социальной реальности совершенно особым образом, это передает его картина. И знакомство с ней может изменить то, как мы воспринимаем мир» [38, с. 151]. Творческая научная работа, по аналогии, представляет собой производство новых способов чтения данных.

Таким образом, упрек, выставляемый против *tertia comparationis*, а значит, и против озвученной выше идеи уравнивать концепты и объекты, объявив их сообщениями, состоит в том, что они отрицают разрыв между репрезентацией и репрезентируемым, в частном случае – между языком и миром. Однако адресовать этот упрек теории коммуникации Бейтсона было бы не вполне справедливо. Разрыв сохраняется в этой модели, приобретая вид разрыва между контекстом и сообщением, аналогичный разрыву между логическими типами Рассела: «Существует пропасть между контекстом и сообщением (или между метасообщением и сообщением), которая имеет ту же природу, что и пропасть между вещью и словом или знаком, означающим ее, или между членами класса и именем класса. Контекст (метасообщение) квалифицирует сообщение, но никогда не может встретиться с ним

на равных основаниях » [47].

Теоретическая модель Бейтсона позволяет сохранить разрыв, одновременно воздерживаясь от прояснения отношений между языком и миром. Жесткие связки «мир есть контекст для идей» и следовательно, определяет идеи, предзадает их, как базис настройку у Маркса, или напротив «язык предшествует восприятию» и определяет то, как мы видим мир – любые подобного рода фиксированные решения в теории Бейтсона оказываются под запретом. Материальное может стать контекстом для слова: плакат «Ленин с нами», помещенный на стене тюрьмы, утрачивает свой идеологический пафос и производит комический эффект. Но верно и обратное, контекстом может стать язык: зная, что происходит «ритуал», мы спокойнее отнесемся к раскачивающимся в трансе людям, чем в случае, если бы такой карты («это ритуал») для считывания ситуации у нас не было. Связь между миром и языком в теории коммуникации не предписана. Для анализа научной работы это означает, что вопрос о том, абстракции, наработанные в тиши кабинета, определяют, что именно исследователь увидит в поле, или же поле само подскажет концептуальные решения, остается открытым, его решение не предопределено выбранным нами инструментом. Следовательно, не будет и заведомо «неправильных» с точки зрения нашего инструментария теоретических и исследовательских проектов. А значит, рассмотрению может быть повергнут более широкий круг работ.

2.2 Аналогии языковых операций в теоретической работе

Выделяя два полюса языка и речи, Якобсон относит к каждому из них по две языковые операции. Метафорический полюс составляют селекция и субституция, метонимический – комбинация и контекстная композиция. Каждая пара понимается им как две стороны одной операции, сами же пары противопоставлены друг другу:

«В каждом языковом знаке обнаруживается два вида операций. 1) Комбинация. Любой знак состоит из составляющих знаков и/или встречается только в комбинации с другими знаками. Это означает, что любая языковая единица одновременно выступает и в качестве контекста для более простых единиц и/или находит свой собственный контекст в составе более сложной языковой единицы. Поэтому любая реальная группировка языковых единиц связывает их в единицу высшего порядка: комбинация и контекстная композиция (contexture) являются двумя сторонами одной и той же операции. 2) Селекция. Выбор между альтернативами предполагает возможность замены одной альтернативы на другую, эквивалентную первой в одном

отношении и отличную от нее в другом. Тем самым селекция и субституция являются двумя сторонами одной и той же операции» [52, с. 113].

Для перенесения модели Якобсона на сферу теоретической работы, необходимо прояснить, как будут выглядеть эти операции в нашем случае.

Селекция. Операция селекции предполагает обращение к языковому коду, разделяемому участниками коммуникации. Выбору фонем из списка тех, что используются в данном языке, выбора лексем из общего для партнеров по коммуникации словаря, а также более крупных единиц – устойчивых словосочетаний, фразеологизмов, речевых клише и т.п. Аналогом языкового кода в научной работе выступает дисциплинарная традиция, ее основные понятия, наиболее влиятельные метафоры, стереотипные решения, предлагаемые отдельными школами (подобие речевых клише). Выбору подлежат и сферы эмпирического исследования, маркированные как социологии разного рода (социология религии, социология науки и пр.). То есть, как и в языке, выбор может осуществляться на разных уровнях – от базовых метафор до списка респондентов. В книге «Реальность образования» авторы обобщают почти до уровня алгоритмов свой опыт проведения прикладных исследований и многократно подчеркивают, что все уровни работы подразумевают выбор: выбор метафоры, выбор теоретико-методологических ориентиров, концептуализации, исследовательского инструментария [21, С. 118].

Субституция. Эта операция является обратной стороной селекции, вместе с которой она составляет метафорический полюс языка. Она является не выбором единицы, заполняющей пустую позицию, а выбором, при котором языковая единица замещает другую. Каждый, имеющий опыт вербального взаимодействия, знаком с этой операцией как с задачей подобрать слова и формулировки, внести стилистические правки, не затрагивающие содержание, и т.п. Эквивалентом такой работы в социологии является все та же система выборов, от метафоры до респондента, на этот раз предполагающая замену.

Здесь стоит отметить, что замена метафоры имеет совершенно иные последствия в смысле полемики, нежели замена респондента. В иерархической лестнице метафора занимает более высокое положение, по сути она является предельным, верхним контекстом, задающим прочтение всех ниже лежащих уровней. Респондент же находится на нижнем уровне иерархии контекстов-сообщений, его замена не влечет серьезных последствий, не требует внесения изменений в прочтение сообщений других уровней. Поэтому замена респондента едва ли способна вызвать

столь же бурные дискуссии, чем метафорическая субституция. Замена базовой метафоры разрушает автоматизм использования привычной оптики, задает свежий взгляд на объект, но и требует перепрочтения готовых дисциплинарных решений, пересмотра методологических пакетов. Это напряжение провоцирует дискуссии. К примеру, критику коллег вызвала попытка российского социолога Д. Иванова описать социологию в метафоре бренда. Для того чтобы конкурировать с другими брендами за внимание, социологии следует быть гламурной [63, 64]. Эта субституция, новый непривычный ракурс рассмотрения дисциплины вызвала, в частности, следующую реакцию коллеги по цеху: «Академическая пристойность и мужественный реализм в социологии больше не котируются по категории научных добродетелей» [62].

Не только текущая внутридисциплинарная полемика может быть описана с помощью термина субституции. Успешно проведенные замены контекстов высоких уровней – то есть так, что прежние контексты, а значит и способы прочтения со временем выходят из употребления – являются способом описать в принятой нами терминологии смену научных парадигм, описанную Куном [26].

Комбинация. Под комбинацией понимается соединение языковых единиц в цепочки: графемы объединяются в слова, слова в предложения, предложения в тексты. В научной работе концепты объединяются в теоретические модели, респонденты в кластеры, собранные данные в аргументацию выводов и т.п.

Однако в этой точке начинаются наши расхождения с Якобсоном. Согласно его представлениям, комбинация тесно связана с контекстной композицией и образует вместе с ней метонимический полюс. «Любая реальная группировка языковых единиц связывает их в единицу высшего порядка» [52, с. 113] – утверждает Якобсон. Но однозначность этого утверждения можно поставить под вопрос. Для этого нам потребуется более пристально рассмотреть контекстную композицию.

Контекстная композиция. В принятой нам здесь терминологии контекстная композиция означает сборку лестницы контекстов, то есть выстраивание иерархической цепочки метаконтекст-контекст-сообщение, где более высокий уровень задает способ прочтения сообщения нижнего уровня. Два используемых нами теоретических языка конфликтуют при ответе на вопрос о том, как именно выстраивается лестница контекстов. Согласно теории коммуникации Бейтсона контекст есть то, что придает сообщению смысл, это означает, что он первичен по отношению к смыслу сообщения, и вся лестница контекстов выстраивается сверху вниз:

«В этой связи особый интерес представляют взаимоотношения контекста со своим содержанием. Фонема существует в качестве таковой только в комбинации с другими фонемами, составляющими слово. Слово есть контекст фонемы. Однако слово существует в качестве такового (т.е. только и имеет "смысл") в большем контексте утверждения, которое в свою очередь имеет смысл только в отношениях. Эта иерархия контекстов внутри контекстов - универсальная черта коммуникативного аспекта феноменов, подвигающая ученого всегда искать объяснения во все более широких сферах. Для физики верно, что объяснения макроскопическому нужно искать в микроскопическом. В кибернетике обычно верно противоположное: без контекста коммуникации не существует» [34, Р. 30].

Якобсон, если следовать логике Бейтсона, является «физиком» – его контексты собираются из языковых единиц низшего порядка. Лестница контекстов в этом случае выстраивается снизу вверх. Однако конфликт теоретических моделей кажущийся. В теории коммуникации Бейтсона описаны ситуации, когда контекст не задан изначально. Это травматические ситуации затрудненной коммуникации, потенциально грозящие жертвам потерей рассудка или творческим прорывом – ситуации «двойного послания». Яркой иллюстрацией является история эксперимента, который проводили над самкой дельфина. Эта пространная цитата представляет собой, вероятно, одно из лучших описаний научной проблематизации:

«Рассмотрим очень простую парадигму: самка дельфина (*Steno brendanesis*) обучена воспринимать звук свистка тренера как "вторичное подкрепление". За свистком ожидается получение пищи; и если она позднее повторит то, что делала, когда раздался свисток, то будет ожидать, что снова услышит свисток и снова получит пищу.

Далее тренеры используют эту самку дельфина для демонстрации публике "оперантного обусловливания". Попадая в демонстрационный бассейн, она поднимает голову над поверхностью, слышит свисток и получает пищу. Затем она снова поднимает голову и снова получает подкрепление. Трех повторений этой последовательности достаточно, и ее отсылают со сцены ждать два часа до следующего представления. Она научилась некоторым простым правилам, связывающим ее действия, свисток, демонстрационный бассейн и тренера в паттерн, т.е. в контекстуальную структуру, набор правил, по которым группируется информация.

Но этот паттерн годится только для единичного эпизода в демонстрационном

бассейне. Для того чтобы справиться с классом таких эпизодов, она должна сломать этот паттерн. Существует больший контекст контекстов, который ставит ее в тупик.

На следующем представлении тренер снова хочет продемонстрировать "оперантное обусловливание", однако она должна выбрать другую ярко выраженную единицу поведения.

Появляясь на сцене, дельфин снова поднимает голову. Но свистка нет. Тренер ждет следующей ярко выраженной единицы поведения - вероятно, шлепка хвостом, обычно выражающего раздражение. Это поведение затем подкрепляется и повторяется.

Однако шлепок хвостом, конечно, не вознаграждается на третьем представлении. В конце концов дельфин научился справляться с контекстом контекстов, т.е. предлагать другую или новую ярко выраженную единицу поведения при появлении на сцене.

Все это случилось естественным образом в процессе свободного развития отношений между дельфином, тренером и аудиторией. Затем последовательность была экспериментально воспроизведена с новым дельфином и тщательно записана.

Приведу два пункта из этого экспериментального воспроизведения.

Во-первых, было необходимо (по мнению тренера) многократно нарушать правила эксперимента. Опыт переживания своей неправоты был для дельфина настолько тяжелым, что ради сохранения отношений дельфина и тренера (т.е. контекста контекстов контекстов) необходимо было давать множество подкреплений, на которые дельфин не имел права.

Во-вторых, каждая из первых четырнадцати сессий характеризовалась большим количеством бесполезных повторений тех видов поведения, которые подкреплялись на непосредственно предшествующих сессиях. Казалось, что животное выдавало единицу отличающегося поведения только "по случайности". В перерыве между четырнадцатой и пятнадцатой сессиями самка дельфина казалась очень возбужденной, и, когда она появилась на сцене в пятнадцатый раз, она устроила длительное представление, включающее восемь ярко выраженных единиц поведения, четыре из которых были совершенно новыми, т.е. никогда прежде не наблюдались у этого вида животных.

Я полагаю, что эта история иллюстрирует два аспекта генезиса трансконтекстуального синдрома:

Во-первых, ставя млекопитающее в положение неправоты согласно его

собственным правилам осмысления важных отношений с другим млекопитающим, можно вызвать у него крайнюю боль и дезориентацию.

Во-вторых, если удастся парировать или сопротивляться этой патологии, опыт такого рода, взятый в целом, может способствовать творчеству» [48].

Самка дельфина в экспериментальной ситуации оказалась вынуждена достроить отсутствующий метаконтекст, который позволил бы ей прочитать элементы ситуации (разрозненные сообщения внутри контекста) как имеющие смысл. От нее требовалось как раз собрать более высокую единицу из единиц меньшего уровня, как то предполагается моделью Якобсона.

Таким образом, говоря о лестнице контекстов, мы должны зафиксировать два способа ее сборки: (1) сверху вниз, через задание контекста верхнего уровня и последующие уточнения, (2) снизу вверх посредством комбинации. Первый способ предполагает, что контекст верхнего уровня будет выбран (селекция) из наличного словаря. Этот способ выстраивания лестницы контекстов мы будем называть метафорическим, так как операция селекции принадлежит метафорическому полюсу. Второй способ выстраивания контекстной композиции, снизу вверх, базирующийся на комбинации, мы будем называть метонимическим, поскольку комбинация принадлежит метонимическому полюсу.

Эта амбивалентность присутствует уже в тексте Якобсона, в частности в следующем примере:

«"Did you say pig or fig?" said the Cat. "I said pig", replied Alice». [«Вы сказали свинья или инжир?» — сказала Кошка. «Я сказала свинья», — ответила Алиса] (из гл. VI «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла). В данном конкретном высказывании адресат — Кошка пытается уточнить языковой выбор, сделанный ранее адресантом. В общем коде Кошки и Алисы, то есть в разговорном английском языке, различие между смычным и фрикативным согласным — при прочих равных условиях — может служить целям изменения смысла сообщения. Алиса использовала различительный признак «смычность vs. фрикативность», отвергнув вторую и выбрав первую из двух взаимоисключающих альтернатив; в том же самом речевом акте она объединила это решение с некоторыми другими синхронно проявляющимися признаками, использовав компактность и напряженность /p/ в противопоставлении к диффузности /t/ и ненапряженности /b/. Таким образом, все эти характеристики звука были объединены в пучок различительных признаков — так называемую фонему» [52, с. 111].

Какой именно выбор был совершен Алисой? Выбирала ли она различительные признаки фонем, готовую фонему или слово целиком? Стояла ли перед ней задача собрать слово из фонем или она воспользовалась готовым решением? При афазии в случае распада контекстной композиции, как указывает Якобсон, единственным типом языковых единиц, которые афатик способен различать, остается либо фонема, либо лексема. В первом случае афатик не способен сопрягать фонемы в слова, во втором – раскладывать их на фонемы. Это значит, что в случае фонем и слов мы не можем утверждать с уверенностью, что в действительности слова конструируются из фонем. Это доподлинно верно в отношении неологизмов, но в случае слов, включенных в общий код, сборка из фонем является избыточной задачей, мы пользуемся готовыми решениями. Алиса может выбрать единицу более высокого порядка, слово, и этот выбор разом избавит ее от необходимости собирать слово из фонем. И это наиболее типичная ситуация: большинству из нас случалось запутаться, выстраивая фразу, если мы не подобрали слова заранее. Мы останавливаемся, возвращаемся, пробуем снова. Иногда удачная формулировка требует нескольких попыток. Но мало кому удалось запутаться, конструируя слово. Сам вопрос о фонеме, возможен только в мире Алисы. Обычно же паттерн избыточности снимает с нас подобного рода затруднения. Мы не замечаем переставленных букв в слове, как не замечаем проглоченных и неверных звуков. Контекст избавляет нас от этих затруднений.

Мы зафиксировали два способа построения лестницы контекстов, метафорический – через выбор верхнего, и метонимический – сборка, начиная с нижнего уровня. У Якобсона между этими способами выстраивания контекстов есть четкая связь: по мере возрастания уровня возрастает роль комбинации:

«Таким образом, в комбинировании языковых единиц при переходе от низших уровней языка к высшим, возрастает шкала свободы. При объединении различительных признаков в фонемы свобода индивидуального говорящего равна нулю; инвентарь всех возможностей данного языка здесь жестко задается его кодом. Свобода комбинирования фонем в слова весьма ограничена, она сводится к маргинальной ситуации создания неологизмов. При построении предложений из слов говорящий ограничен в меньшей степени. И наконец, при комбинировании предложений в высказывания, в целостные тексты кончается действие обязательных синтаксических правил и резко возрастает свобода» [52, с.113].

Однако возможность выбирать базовые метафоры, задающие общую логику

нарратива, противоречит идее Якобсона о возрастании свободы снизу вверх. Скорее, нам приходится признать, что на уровне предельных контекстов совершается выбор, подобный выбору слов. И изобрести принципиально новую метафору для описания чего-либо не проще, чем новое слово, которое войдет в обиход. Представление о том, что роль комбинации возрастает по мере увеличения уровня языковой единицы или восхождения по лестнице контекстов приходится отвергнуть. Возможность выбора на низших и на высших уровнях равно ограничена. Простор для комбинации мы находим в середине лестницы.

Движение сверху вниз, метафорический способ заполнения лестницы контекстов, означает для теоретической работы выбор из имеющегося теоретического багажа базовой метафоры и теоретического языка, выстраивания концептов (это этап, на котором появляется комбинация). Сконструировав таким образом свой оптический прибор, исследователь смотрит с его помощью на поле. Этот способ работы подвержен риску афазии исследовательского высказывания, проявляющейся как эффект неконтролируемой экспансии метафоры – ситуации, когда сбор данных ничего не добавляет к объяснению, уже заложенному в выбранной метафоре. Это случай, когда селекция на верхнем уровне полностью исключила любые операции комбинации на нижних. Подобно тому, как афатик теряет способность раскладывать слово на фонемы, исследователь теряет способность видеть данные за своей метафорой.

Построение лестницы контекстов снизу вверх, метонимическим способом, с акцентом на комбинацию, исследователь оказывается самкой дельфина, вынужденной собирать контекст более высокого уровня из наличных сообщений. Злоупотребление комбинацией тоже имеет свои риски. Якобсон пишет, что афатик с нарушениями селекции разговаривает на собственном «идеолекте», в случае научной работы коллеги упрекают такого ученого в «самодумстве». Его рассуждения оказываются недостаточно (или вовсе не) вписаны в контекст текущих дискуссий, в них игнорируется «словарный запас» дисциплины, по которым подразумеваются не только термины, но и все те же метафоры.

Метонимический способ работы – сборка контекстов из сообщений, сбор фактов, которые обобщаются до теории – является мечтой позитивистской науки. Однако, он имеет несколько проблем. Первая состоит в том, что успех не гарантирован. История самки дельфина учит нас, что сбор контекстов из сообщений – опыт крайне травматичный, где потеря рассудка и оригинальное творческое решение

являются равновероятными. Но это в случае серьезного отношения к делу. Если же научный сотрудник не относится к этой задаче как к интеллектуальному вызову или уклоняется от него, выстроить контекст, выйти на новый уровень попросту не удастся. Исследовательская работа в таком случае оказывается песней акына, простым описанием, в большей или в меньшей степени удачным повествованием об увиденном в поле. В случае удачного решения, а точнее, цепи удачных решений, при которых продвижение от уровня к уровню носит исключительно метонимичный характер, то есть базируется на комбинации, появляется вторая проблема. Она уже упоминалась – это проблема идеолекта. Другие не могут понять высказывание, не укорененное в коде. Выбор готовых решений страхует нас от непонимания. Невозможно не вспомнить все классические истории о непонимании и неприятии новаторских научных открытий. Ирония состоит в том, что о самых новаторских открытиях мы не узнаем никогда – они не были поняты и позже. Страховой от проблемы идеолекта в научной коммуникации служит система ссылок, определение понятий, обозначение подходов, так же как от проблемы неконтролируемой экспансии метафоры служит требование новизны, предъявляемое к научному тексту – он непременно должен нести в себе новую комбинацию.

Метафорическое, сверху вниз, и метонимическое, снизу вверх, построение лестницы контекстов, различаются по степени сложности. Метафорический способ проще, именно ему Анкерсмит адресовал свой упрек о приспособлении мира к познающему субъекту. Метонимический способ предполагает травматический опыт самки дельфина, опыт проблематизации. Проиллюстрировать разницу в сложности можно на примере стандартной задачи из IQ теста, где требуется решить анаграммы и исключить лишнее слово, например: ЗОАК, РЕОББ, СФОМАРЕ, ШАДОЛЬ. Как только мы понимаем, что большинство анаграмм – названия животных, решение становится простым, имя класса, выступающее в роли контекста, играет роль подсказки. Трудности вызывает расшифровка первого слова и слова «семафор», выбивающегося из общего ряда. Очевидно, что сложность задания возросла бы, если бы слова не были объединены в смысловую группу. Выстраивание контекстов с помощью комбинации подобно задаче собрать фразу из случайных букв в отсутствие подсказок и даже уверенности, что решение существует.

Вводя представление о двух способах построения лестницы контекстов, мы расходимся с Якобсоном. Контекстная композиция в нашем изложении оказывается независима от метонимического полюса, контекст может задаваться как селекцией,

так и комбинацией. Два способа построения лестницы контекстов, метафорический и метонимический, в этом случае образуют два полюса с согласия с метафорой полюсов: на полюсах Земли почти нет жизни, она процветает на экваторе. Каждый из предельных способов выстраивания лестницы контекстов нежизнеспособен без другого, только промежуточное решение имеет право на существование. Это означает так же, что не существует связи между уровнем лестницы контекстов и метонимичностью, как то имеет место у Якобсона (свобода комбинации возрастает вместе с уровнем языка). Верхний уровень (тропы Уайта, базовые метафоры) и нижний (фонемы и респонденты) в равной степени ограничивают и предписывают выбор и лишь в середине лестницы контекстов появляется свобода и простор для комбинации. Построить всю лестницу контекстов только одним из полярных способов – значит оказаться в плену одного из типов афазии. Чередование комбинации и селекции на протяжении всего построения задает специфику конкретного теоретического проекта или прикладного исследования.

3 Анализ кейса

Модель Р.Якобсона предполагает выделение нескольких операций, переописанных нами как операции теоретической работы: селекция, субституция, комбинация и контекстная композиция. Выше мы оспорили однозначность связи контекстной композиции с метонимическим полюсом теоретизирования. В предложенной нами схеме контекстная композиция встраивается с помощью комбинации в той же мере, что и с помощью селекции и субституции. Для каждой из операций может быть подобран кейс-иллюстрация. Операции выполняются не изолированно – это означало бы афазию, но возможен подбор иллюстраций, где один из полюсов акцентирован. Для демонстрации работы метонимического полюса проанализируем книгу Дж. Урри «Социология за пределами обществ. Виды мобильности для XXI столетия».

В 2000 году профессор Ланкастерского университета Джон Урри публикует книгу, которая, по замыслу автора, представляет собой манифест новой социологии. Ее основная идея – отказаться от утратившей силу категории общества и перефокусировать внимание социологов на исследования мобильности. Книга получила несколько нейтральных рецензий [95; 96], активно цитируется учеными, изучающими различные формы перемещений [97], но, как можно констатировать сегодня, не стала точкой отчета для новой парадигмы в социологии. Инертность «нормальной науки», расклад сил на поле политической игры между научными школами, и другие возможные стратегии объяснений судьбы «Социологии за пределами обществ» мы оставим за скобками и обратимся к другому вопросу: что в содержании книги помешало ей выполнить свою миссию?

В тексте можно выделить две линии рассуждения. Первая, назовем ее эпистемологической, включает предъявление оснований и описание метода социологии, изучающей мобильности. Вторая, эмпирическая, демонстрирует его работу и показывает, как появление новых технологий изменяет практики телесных ощущений, перемещений человеческих тел, материальных объектов, идей и образов, порождает новые типы времени, формы проживания и идентичности. Объемный иллюстративный материал содержат и «эпистемологические» главы. Переплетение двух линий должно придавать законченность перформативному жесту манифеста: автор сам делает то, к чему призывает. Предлагаемый метод не должен вызывать сомнений в применимости, ведь результаты применения уже представлены. Но этого

эффекта достичь не удастся: многочисленные примеры не столько проясняют способ работы, сколько увлекают в размышления об объекте и уводят внимание в сторону от магистральной эпистемологической линии. Попытаемся ее восстановить.

Центральная категория социологии, общество, выстроена по образу национального государства, поэтому общества мыслятся как локализованные в пространстве, имеющие границы и регулирующие процессы на своей территории – образ, все менее адекватно описывающий мир, пронизанный глобальными потоками. Метафору региона предлагается заменить более продуктивными метафорами каналов, сетей и текучих сред, а задачей социологии становится изучение перемещений по ним гибридов, образованных соединением человеческих тел, материальных объектов и технологий.

Суть этого предложения окажется не столь ясной, если мы обратим внимание на то, как Урри отделяет свою логику от логики «визуальной эпистемологии», породившей «сегодняшнюю науку, которая представляется полным антитезисом по отношению к метафоре, – науку, натурализирующую собственные метафоры» [15, с.43]. Урри поясняет, что визуальной эпистемологию делает лежащая в ее основе метафора познания как зрения, а субъекта познания – как «внутреннего глаза». Признавая такое эпистемическое основание неудовлетворительным, Урри предлагает метафоры сетей и потоков, «не принадлежащие к числу окулярных» [15, с. 43]. Утверждение, что метафоры, позволяющие схватить объект, могут быть визуальными и невизуальными, указывает на неразличение двух типов метафор: эпистемических (*познание как X*) и онтологических (*объект как X*). Учет этого различия позволяет сказать, что, в зависимости от того, понимаем ли мы познание через метафору зрения или нет, метафора объекта может быть сведена к ее визуальным компонентам или расширена до не только визуальных. Это значит, что отказ от визуальной эпистемологии сам по себе не требует обращения к иным, невизуальным метафорам, скорее, он позволяет переинтерпретировать имеющиеся метафоры, расширяя их возможности, как это делает, к примеру, Ханна Макферсон: работая с концептом ландшафта, она обнаруживает его материальность, протяженность и доступность всем органам чувств («Это восприятие и опыт обладают характеристиками мультисенсорности и телесности. Восприятие ландшафта – это не только взгляд» [98, с. 101]). Если же различие между эпистемическими и онтологическими метафорами не проводится, то остается неясным, предлагает ли Урри только новые метафоры мобильности для социальной науки, или же ставит, не признаваясь в этом явно, более

амбициозную задачу: вывести социологию за границы визуальной эпистемологии, выстроив ее на принципиально новых основаниях. Прямо декларируется первое, но, как мы успели увидеть, реализовать автор стремится именно второй сценарий, делая тем самым больше, чем обещает. И это ему удастся. Однако платой за удачу становится противоречивость логической конструкции: объявляя на словах, что «все человеческое мышление, включая частные и абстрагированные практики науки и социальной науки, основано на метафоре» [15, с.38]., Урри на практике вынужден вообще отказаться от метафорической логики.

Противоречие вырастает как раз из отказа от метафоры познания как зрения. Сторонником такого отказа (и одним из авторов, на которых опирается Урри), является Ричард Рорти. Однако в случае Рорти призыв «выбросить визуальные метафоры, и, в частности, метафоры отражения, из нашей речи вообще» [99, с. 291] сопровождается пояснением, что этот ход одновременно требует отказа от надежды на любого рода трансцендентальную точку зрения [99, с. 297-298]. Однако, как показал Ф. Анкерсмит, трансцендентальная точка зрения и метафора связаны настолько тесно, что отказ от одного предполагает отказ от другого. И трансцендентальный субъект, и метафорическая точка зрения являются одновременно организующим центром хаотического знания и мертвой зоной, неспособной осознавать себя (поскольку центр, видимый из другого центра, перестает быть центром), таким образом, метафорическая и трансценденталистская точка зрения выполняют идентичные функции [22, с.11]. Еще одно общее свойство трансцендентализма и метафоры, отмеченное Анкерсмитом, – способность превращать незнакомое в знакомое, адаптировать действительность к познающему субъекту [22, с. 13]. Если Анкерсмит прав, то замена визуальных метафор объекта невизуальными оказывается невозможной операцией в силу своей логической противоречивости. Но как раз на эту невозможную операцию решается Урри, предлагая социологам метафоры сетей, потоков и текучих сред.

Нужно заметить, что отказ от зрения как метафоры познания предполагает отказ от метафор объектов, но не означает отказа от метафор познания. Для Рорти философия и наука перестают быть зеркалом мира, но становятся разговором. Анкерсмит, целью которого является преодоление трансцендентализма, обращается к образам перстня и отпечатка, заимствованным у Аристотеля, пера и записной книжки, взятым у Фрейда. Обе метафоры подчеркивают непрерывность связи познаваемого и познающего, отрицая онтологический разрыв между субъектом и объектом.

В своем анализе чувств Урри помимо зрения обращается к слуху, обонянию и осязанию. Его метафора текучей среды предполагает такие невизуальные характеристики как вязкость и консистенция. Мы можем сделать вывод, что Урри, не называющий явно свои эпистемические метафоры, тем не менее, пользуется метафорой *«познание как чувственное восприятие»*, подразумевающей обработку ощущений, полученных от всех органов чувств. Это радикально меняет перспективу познающего субъекта: он больше не находится на безопасном расстоянии, расстоянии взгляда, от того, что познает, он оказывается погруженным в мир, частью которого является его объект. Логике этого погружения позволяет проследить цепочка мысленных экспериментов Анри Бергсона. Он развивает собственную версию преодоления дуализма тела и духа и, отталкиваясь от ощущения и восприятия, показывает, как «различение внутреннего и внешнего сведется к различию части и целого» [100, с. 186], когда среди изменяющихся образов внешнего мира субъект зафиксировывает неизменный образ собственного тела.

Для ученого быть в одном мире с объектом означает, что объект теперь способен не только пассивно предстать перед взором, но и пронзить, оглушить или – по выражению одного из ключевых для Урри авторов, Брюно Латура – «дать отпор». Для социолога это означает еще больше: он оказывается частью не только мира, но и своего объекта. Урри приводит мнение Ингольда о парадоксальности формулировки «глобальные изменения окружающей среды» [15, с. 70]. Идея глобального отсылает к визуальному образу земного шара, недоступного непосредственному восприятию, и базирующемуся на фотографиях из космоса (фотоаппарат на спутнике выступает материальным аналогом точки зрения трансцендентального субъекта). Напротив, идея окружающей среды предполагает вовлечение, деятельное участие, допускает включение всех чувств. Метафора региона для общества выполняет ту же функцию, что и фотография Земли – позволяет сохранять дистанцию и обозревать целое. Но стоит отказаться от метафоры региона, социальное становится окружающей средой, поглощающей своего исследователя. В тексте Урри это проявляется следующим образом: выбирая между метафорами, описывающими социологию, Урри предпочитает лесничество садовничеству: «садовничество зиждилось на строгом различении садовника и сада... Я выступаю против подобного разделения» [15, с. 271].

Погружение в объект имеет следствием то, что социальное как целое более не доступно познанию. Субъект, находящийся внутри объекта, имеет доступ только к

своему непосредственному окружению – части, замещающей целое. Это подталкивает к решению, окончательно порывающему с метафорой, а именно, к *метонимическому способу рассуждения*.

Если следовать Лакоффу и Джонсону, на которых опирается Урри, сутью метафоры является «понимание и переживание сущности одного вида в терминах сущности другого вида» [12, с. 27]. При этом две сущности оказываются не просто не идентичны друг другу, но и различаются по степени ясности и структурированности, ведь «мы концептуализируем то, что определено менее четко, в терминах того, что определено более четко» [12, с. 97]. То есть работа метафоры описывается формулой (менее знакомое) X как (более знакомое) Y. Метонимия же подразумевает использование одной сущности в качестве ссылки на другую, связанную с первой. Особым случаем такой референции является синекдоха – отсылка к целому через указание на его часть [12, с. 61]. Работа метонимии описывается формулой X вместо Y. Для Лакоффа и Джонсона метафора и метонимия представляют собой разные виды процессов понимания [12, с. 62].

Порвав с визуальной эпистемологией (а вместе с ней и с метафорой), Урри не удастся найти иного способа выстроить основания новой социологии, кроме как прибегнуть к метонимии. Мобильность одновременно понимается им «и как метафора, и как процесс» [15, с. 76], то есть одновременно имеет и метафорический, и онтологический статус. Эта двойственность проявляется как во всей логике рассуждения, так и в отдельных высказываниях: «Особенно это коснется тех различных мобильностей, которые <...> видоизменяют на материальном уровне “социальное как общество”, превращая его в “социальное как мобильность”» [15, с. 10]. Предложение изучать социальное как мобильность согласуется с принципом работы метафоры: мы схватываем потерявшее очертания, ускользающее от понимания «социальное» новой метафорой, вновь делающей его видимым и познаваемым. Но Урри предлагает иную повестку дня для социологии, а именно – изучать различные виды мобильности, то есть изучать мобильности как мобильность (и лишь затем надстраивая над этой базовой метафорой вспомогательные образы сетей и потоков). Метафора и объект совпадают, что не позволяет больше говорить о метафорическом основании новой социологии, поскольку этот ход не подпадает под формулу (менее знакомое) X как (более знакомое) Y. «С небольшой натяжкой можно заявить, что социология всегда считала мобильность своим “основным делом”» [15, с. 11] – замечает Урри. То есть весь замысел книги может быть интерпретирован как

идею свести повестку дня социальных наук к некоторой ее части, и предложение для новой социологии заключается не в смене метафор, а в изменении базовой операции с метафорической на метонимическую.

Обоснованность идеи отказаться от категории общества в пользу мобильности зависит от того, в каком отношении друг к другу находятся метафора и метонимия. Лакофф и Джонсон ограничиваются утверждением, что они являются разными видами процессов, не проясняя их взаимной связи. Между тем их перспективы взаимно обратны, что позволяет описать каждую как часть другой. Если мы выбираем метонимическую точку зрения, лишенную всякого трансцендентального измерения, то любая метафора оказывается внутри того же пространства, где локализованы объект и субъект познания. В случае социального как окружающей среды, метафора оказывается внутри объекта, следовательно, его частью, следовательно, метонимией. Если же мы меняем перспективу и сохраняем трансцендентальное измерение, то можем позволить себе вопрос о том, что задает список частей целого, доступных для восприятия. По словам Макса Блэка, именно метафора «отбирает, выделяет и организует одни, вполне определенные характеристики» [101, с. 167] объекта, на который направлена, и выводит из поля внимания другие, тем самым ограничивая выбор частей, которые могут служить для отсылки к целому. Это заставляет предположить, что любая метонимия строится на скрытых метафорических основаниях, и, таким образом, оказывается в подчиненном положении по отношению к метафоре. Для «Социологии за пределами обществ» последнее означает, что она, как и «социология в пределах общества», уклоняется от предъявления своих базовых метафорических оснований и натурализирует их. Урри можно было бы адресовать вопрос о том, какая метафора социального позволяет считать одни виды мобильности социальными, а другие нет. Если социальны все виды мобильности, значит ли, что социолог XXI века может изучать приливы, движение звезд или сдвиги тектонических плит и оставаться при этом социологом?

Метонимическая же перспектива полностью оправдывает линию аргументации Урри, который апеллирует к изменениям объекта (мобильности изменяют общество на материальном уровне, подрывая его казавшиеся устойчивыми структуры). Если допустить, что метонимия есть независимая от метафоры когнитивная операция, соотношение часть-целое объективно, а «выбор части определяет, на какой стороне целого фокусируется внимание» [12, с. 62], тогда можно говорить о том, что мобильности существуют, ускоряются, их значение растет и требует более

пристального изучения.

Проверка аргументации Урри на обоснованность предполагает ответы на вопросы, далеко выходящие за рамки отдельной дисциплины, и автор манифеста новой социологии никак не облегчает нам эту работу. Здесь позиция «делать больше, чем обещаешь» обнаруживает свои неоценимые преимущества: Урри нельзя упрекнуть в том, что он не решает задачу, которую перед собой не ставил. Но в таком качестве книга не может стать фундаментом нового социологического метода – то есть тем, чем задумывалась.

Таким образом, несмотря на все старания, автору не удастся выполнить желанную (но недопустимую) операцию – сохранить метафору объекта, отказавшись от эпистемической метафоры зрения. Утверждение о «визуальной эпистемологии», породившей «науку, которая представляется полным антитезисом по отношению к метафоре», оказывается несостоятельным. При этом «Социология за пределами обществ» есть отклик на вызовы, стоящие не только перед социальной теорией, вызовы, к которым переживающая кризис социология оказывается особенно чувствительной. Книга Урри – это попытка действием решить проблемы, еще не решенные на теоретическом уровне, продвинуться на ощупь туда, куда не проник взгляд трансцендентального субъекта.

Как показывает Николас Луман, фундамент любого теоретического построения неизбежно окажется скрытым. «Возможны две формы рефлексии тождества системы: тавтологическая и, парадоксальная. Соответственно, можно сказать: общество есть то, что оно есть; или же: общество есть то, что оно не есть. Обе эти формы не способны к последующим подсоединениям. Они не ведут дальше, но блокируют операции системы. <...> В самоблокировании участвует и наблюдение наблюдения или описание описания. Оно само становится тавтологичным или же парадоксальным, поскольку фиксирует свой предмет таким образом, что делает невозможными дальнейшие высказывания о нем» [102, с.28]. Решением проблемы для системы становится придание невидимости парадоксальному или тавтологичному утверждению. Если провести аналогию между тавтологией и метонимией (мобильности как мобильность) с одной стороны, и между парадоксом и метафорой (общество как регион) [21], то, отрицая старую науку, скрывающую свои метафорические основания, новая будет вынуждена скрывать основания метонимические.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе реконструировано становление метода экспликации базовых метафор как средства рефлексии социальной теории, восстановлены критические аргументы, проблематизирующие этот метод рефлексии теории и предложены пути разрешения проблемы, выстроенные на метафоре научной работы как коммуникации с привлечением теоретических ресурсов лингвистики (диада метафора-метонимия Р. Якобсона) и теории коммуникации (Г. Бейтсон).

Главным теоретическим результатом является концептуализация и описание метонимической модели мышления в социальной теории на основе представления о двух полюсах (метафорическом и метонимическом) теоретической работы. Построенная модель заставляет предположить, что говорить о стратегии социологического теоретизирования на основе метонимии и одновременно полагать, что в рассматриваемой теоретической или прикладной работе не используется стратегии на основе метафоры, является неоправданным упрощением. Более того, последовательное предпочтение одной стратегии должно иметь для теоретической работы те же следствия, что и для языка. В языке устранение одного из полюсов приводит к афазии, в случае науки – к невозможности произвести научное высказывание. Двойственная, компромиссная природа любого теоретического проекта по отношению к полюсам теоретизирования подтверждается анализом кейсов.

Кейс Урри показывает, что таким же свойством обладает метонимическая стратегия. Из анализа работы Дж. Урри можно также заключить, что две стратегии способны функционировать одновременно. Отказ Урри от «визуальной эпистемологии» (метафоры познания как взгляда) закрывает для него возможность использования метафор объекта познания. Призыв изучать социальное как мобильность (мобильность как метафора) оборачивается призывом изучать мобильности как мобильность (метафора натурализуется). Второй путь требует от исследователей выстроить новые, основания социальной науки, без которых проект Урри оказывается нереализуемым.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1 Blumenberg, H., & Savage, R. Paradigms for a metaphorology. - Ithaca, N.Y: Cornell University Press. 2010.
- 2 Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского. – М., Мысль, 2001.
- 3 Hinman L.M. Nietzsche, Metaphor, and Truth // Philosophy and Phenomenological Research, Vol. 43, No. 2 (Dec., 1982), pp. 179-199.
- 4 The Linguistic Turn. Recent Essays in Philosophical Method (Ed. and with an introd. by R. Rorty). Chicago — London, 1967.
- 5 Livingstone D. N. Harrison R. T. Meaning Through Metaphor: Analogy As Epistemology // Annals of the Association of American Geographers, Vol. 71, No. 1 (Mar., 1981), pp. 95-107.
- 6 Витгенштейн Л. Философские работы. Ч.1. Пер. с нем. / Составл, вступ. статья, примеч. М. С. Козловой. Пер. М. С. Козловой, Ю. А. Асеева. М.: Гнозис, 1994.
- 7 Black M. Linguistic Method in Philosophy // Philosophy and Phenomenological Research, Vol. 8, No. 4 (Jun., 1948), pp. 635-650.
- 8 Black M. Models and Metaphors - Ithaca: Cornell University Press, 1962.
- 9 Davidson, D. What metaphors mean, Inquiries into Truth and Interpretation, Oxford: Oxford University Press. 1984.
- 10 Black, M. More about metaphor - Ortony, A., Metaphor and Thought, Cambridge: Cambridge University Press. 1979.
- 11 Black M. Metaphor // Proceedings of the Aristotelian Society, New Series, Vol. 55 (1954 - 1955), pp. 273-294.
- 12 Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живём. - М.: Едиториал УРСС, 2004.
- 13 Black M. Review: Lakoff, George, and Mark Johnson. Metaphors We Live By. // The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 40, No. 2 (Winter, 1981), pp. 208-210.
- 14 Декарт Р. Размышления о первой философии, в коих доказывается существование Бога и различие между человеческой душой и телом // Сочинения в двух томах. Т.2. - М.: Мысль, 1994.

- 15 Урри Дж. Социология за пределами обществ: виды мобильности для XXI столетия. - М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012.
- 16 Филиппов. А. К теории социальных событий // Логос, 5 (44), 2005, с. 3-28.
- 17 Уайт Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века. - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2002.
- 18 Анкерсмит Ф. Эстетическая политика: политическая философия по ту сторону факта и ценности. – М: Издательский дом Высшей школы экономики. 2014.
- 19 Вахштайн В. Метафорика университета. [электронный ресурс]: <http://postnauka.ru/longreads/13096>, дата обращения: 05.06.2015.
- 20 Якобсон Р. Два аспекта языка и два типа афатических нарушений // Теория метафоры. М., 1990.
- 21 Константиновский Д.Л., Вахштайн В.С., Куракин Д.Ю. Реальность образования. Социологическое исследование: от метафоры к интерпретации. – М., 2013.
- 22 Ankersmit F.R. History and tropology: the rise and fall of metaphor. - London: University of California Press, 1994.
- 23 Константинова М. Метонимический поворот. Социология вещей против социологии технологий // Социология власти, 27 (1), 2015, с. 90-107.
- 24 Кант И.. Критика чистого разума. - М.: Мысль, 1994.
- 25 Лакофф Дж. Женщины, огонь и опасные вещи: Что категории языка говорят нам о мышлении. - М: Языки славянской культуры, 2004.
- 26 Кун Т. Структура научных революций. - М.: АСТ, 2003.
- 27 Tönnies F. Hobbes Leben und Lehre. Stuttgart, Frommann, 1896.
- 28 Луман Н. Общество общества. Т 1. Общество как социальная система. - М.: Логос, 2004.
- 29 Дюркгейм Э. Метод социологии // Социология. Ее предмет, метод, предназначение. - М.: Канон, 1995.
- 30 Вахштайн В. Социология вещей и «поворот к материальному» в социальной теории // Вахштайн В. (ред.). Социология вещей. - М.: Территория будущего, 2006. С. 7-39.
- 31 Pinch T.J., Bijker W.E. The Social Construction of Facts and Artefacts: or How the Sociology of Science and the Sociology of Technology might Benefit Each Other // Social Studies of Science. 1984. Vol. 14. P. 399–441.

- 32 Urry J. *Sociology beyond societies: mobilities for the twenty-first century*. - London: Routledge, 2000.
- 33 Lakoff G., Johnson M. *Metaphors we live by*. - Chicago: Chicago University Press, 1980.
- 34 Bateson G. *Cybernetic Explanation // American Behavioral Scientist*. - Thousand Oaks: SAGE, 1967. - Vol. 10, N. 8. - P. 29-32.
- 35 Icke P. *Frank Ankersmit's Lost Historical Cause: A Journey from Language to Experience*. - London, Routledge, 2011.
- 36 White H. *Tropics of discourse: Essays in Cultural Criticism*. - Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1978. - 287 p.
- 37 White H. *Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe*. - Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2014.
- 38 Анкерсмит Ф. *Возвышенный исторический опыт*. - М: Европа, 2007.
- 39 Шкловский В. *Искусство как прием // О теории прозы*. - М: Федерация, 1929. - С. 7-23.
- 40 Шкловский В. *Строение рассказа и романа // О теории прозы*. - М: Федерация, 1929. - С. 68-90.
- 41 Шкловский В. *Как сделан Дон Кихот // О теории прозы*. - М: Федерация, 1929. - С. 91-125.
- 42 Калинин И. *Прием остранения как опыт возвышенного: От поэтики памяти к поэтике литературы // НЛЮ. 2009. № 95. С. 39—58*.
- 43 Roth M. S. *Ebb tide // History and Theory*. - The Hague, the Netherlands: Routledge, 2007. - Vol. 46, N 1. - P. 66-73.
- 44 Ankersmit F.R. *Invitation to historians // Rethinking History* - The Hague, the Netherlands: Routledge, 2003. - Vol. 7, N 3. - P. 413-437.
- 45 Ankersmit F.R. *Sublime Historical Experience* - Stanford: Stanford University Press, 2005.
- 46 Tsivian Y. *The Gesture of Revolution or Misquoting as Device // Ostrannenie: On "Strangeness" and the Moving Image. The History, Reception, and Relevance of a Concept / van den Oever A. (ed.)*. - Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010. - P. 21-32.
- 47 Bateson G. *Toward a theory of Schizophrenia // Steps to an ecology of mind*. - Northvale, New Jersey: Jason Aronson Inc., 1987. - P. 205-231.

- 48 Bateson G. Double bind // Steps to an ecology of mind. – Northvale, New Jersey: Jason Aronson Inc., 1987. – P. 276-283.
- 49 Bateson G. Minimal Requirements for a Theory of Schizophrenia // Steps to an ecology of mind. – Northvale, New Jersey: Jason Aronson Inc., 1987. – P. 249-275.
- 50 Якобсон Р. Заметки о прозе поэта Пастернака // Якобсон Р. Работы по поэтике. М.: Прогресс, 1987. - С. 324-338.
- 51 Цвигун Т. В. Другая риторика Романа Якобсона (заметки к теме I-III) // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта – Калининград, 2006. - №8 - с 72 – 78.
- 52 Якобсон Р. Два аспекта языка и два типа афатических нарушений // Теория метафоры. – М: Прогресс, 1990. – С. 110-132.
- 53 Якобсон Р. Два аспекта языка и два типа афатических нарушений // Теория метафоры. – М: Прогресс, 1990. – С. 110-132.
- 54 Chateau D. Ostranenie in French Film Studies // Ostrannenie: On “Strangeness” and the Moving Image. The History, Reception, and Relevance of a Concept / van den Oever A. (ed.). - Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010. – P. 99-110.
- 55 Сологубов А. М. Модели мира и метафоры в аргументации // Вестник РГУ им. И. Канта. 2005. Вып. 3. Сер. Гуманитарные науки. С. 27—33.
- 56 Wenzel J. W. Three Perspectives on Argument // Perspectives on argumentation: essays in honor of Wayne Brockriede, 2006. P. 9–26.
- 57 Хизанишвили Д. В. Рациональность аргументации с точки зрения когнитивного подхода // Рацио.ru. 2011. Выпуск №6. С. 128 - 146.
- 58 Фурс В. Н. Философия незавершенного модерна Юргена Хабермаса — Мн.: ЗАО «Экономпресс», 2000.
- 59 Барбина Т. С. Микро- и макроуровень контраргументации // Вестник Иркутского государственного лингвистического университета. 2011. Вып. 4. С. 107-115.
- 60 Goldman A.I. Argumentation and Social Epistemology // The Journal of Philosophy, Vol. 91, No. 1 (Jan., 1994), pp. 27-49.
- 61 Бейтсон Г. Экология разума. Избранные статьи по антропологии психиатрии и эпистемологии. - М.: Смысл, 2000.
- 62 Щелкин А. Г. Доигрались! – лозунг дня: «Даёшь гламурную социологию!» // Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2011. Вып. 4. С. 28-31.

- 63 Иванов Д.В. Актуальная социология: веселая наука в поисках злых истин // Журнал социологии и социальной антропологии. 2010. Т. XIII. № 2. С. 21-51.
- 64 Иванов Д.В. Актуальная социология: веселая наука в поисках злых истин // Журнал социологии и социальной антропологии. 2010. Т. XIII. № 3. С. 51-65.
- 65 Rorty R. *Philosophy and the Mirror of Nature*. – Princeton University Press, 1980.
- 66 Gouldner A. W. *Anti-Minotaur: The Myth of a Value-Free Sociology* // *Social Problems*, 1962. Vol. 9, No. 3. P. 199-213.
- 67 Давыдов Ю.Н.. *Макс Вебер и современная теоретическая социология*. - М.: Мартис, 1998.
- 68 Bruun H. Objectivity, Value Spheres, and “Inherent Laws”: On some Suggestive Isomorphisms between Weber, Bourdieu, and Luhmann // *Philosophy of the Social Sciences*, 2008 Vol. 38 No. 1. P. 97-120.
- 69 Куренной В.А. Лев Толстой и Макс Вебер о ценностной нейтральности университетской науки // *Вопросы образования*. 2010. № 3. С. 48-74.
- 70 Вебер М. *Избранные произведения*. – М.: Прогресс, 1990.
- 71 Hobbes T. *Leviathan, or The Matter, Form and Power of a Commonwealth Ecclesiastical and Civil*. – London, John Bohn, 1839.
- 72 Wagner G., Zipprian H. Wertfreiheit: Eine Studie zu Max Webers kulturwissenschaftlichem Formalismus // *Zeitschrift für Soziologie*, Vol. 18, No. 1. 1989. P. 4-15.
- 73 Шмитт К. Понятие политического // *Вопросы социологии*. 1992. № 1. С. 37-67.
- 74 Parsons T. Evaluation and Objectivity in Social Science: An Interpretation of Max Weber's Contribution // *International Social Science Journal*, Vol. 17. No. 1. 1965. P. 46–63.
- 75 Habermas J. Wertfreiheit und Objektivität. Eine Diskussionsbemerkung, [Deutschen Soziologentag April 1964], in *Max Weber und die Soziologie heute*. Hrsg. von Otto Stammer, Tübingen: Mohr, 1965, P. 74-81.
- 76 Ringer F. *Max Weber's methodology: The Unification of the Cultural and Social Sciences*. – Harvard University Press, 1997.
- 77 Филиппов А.Ф. Актуальность философии Гоббса // *Социологическое обозрение*. 2009. Т.8. №3. С. 102-112.

- 78 Корбут А. Гоббсова проблема и два ее решения: нормативный порядок и ситуативное действие // Социология власти. 2013. №1-2. С. 9-26.
- 79 Шмитт К. Левиафан в учении о государстве Томаса Гоббса. – СПб., Владимир Даль, 2006.
- 80 Parsons T. The structure of social action: a study in social theory with special reference to a group of recent European writers. Glencoe, Free Press, 1949.
- 81 Wickham G. Hobbes's commitment to society as a product of sovereignty: A basis for a Hobbesian sociology // Journal of Classical Sociology. 2014. Vol. 14(2). P. 139–155.
- 82 Вахштайн В. К концептуализации сообщества: еще раз о резидентности или работа над ошибками // Социология власти. 2013 № 3. С. 8-26.
- 83 Латур Б. Где недостающая масса? Социология одной двери // Вахштайн В. (ред.). Социология вещей. - М.: Территория будущего, 2006. С. 199-222.
- 84 Черных А. И. Медиаритуалы // Социологический журнал. 2012. № 4. С. 106-129.
- 85 Маклюэн М. Понимание медиа: Внешние расширения человека. - М.; Жуковский: КАНОН-пресс-Ц, Кучково поле, 2003.
- 86 Маклюэн М. Галактика Гутенберга. Становление человека печатающего. - М.: Академический проспект, 2005.
- 87 Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. - М.: КАНОН-пресс-Ц, Кучково поле, 2001.
- 88 Щербина В.В. Существует ли сегодня наука социология? // Социологические исследования. 2012. № 8. С. 31-41.
- 89 Соколов М.М. Изучаем локальные академические сообщества // Социологические исследования. 2012. № 6. С. 76а-82.
- 90 Сафонова М.А. Сетевая структура и идентичности в локальном сообществе социологов // Социологические исследования. 2012. № 6. С. 107-120.
- 91 Бочаров Т.Ю. Делая социологию социологии // Журнал социологии и социальной антропологии. 2010. Т. XIII. № 3. С. 155-179.
- 92 Корбут А. На что можно указать пальцем? Фрейм, практика, вещь и кое-что еще // Социологическое обозрение. 2009. Т. 8. № 1. С. 70-85.
- 93 Артюшина А.В. Социология науки и техники (STS): сетевой узел и трансформация лабораторной жизни // Социологические исследования. 2012. № 11. С. 35-51.

- 94 Артюшина А.В. Акторно-сетевая теория в бездействии: стратегии и ограничения антропологического исследования российской лаборатории // Журнал социологии и социальной антропологии. 2010. Т. XIII. № 2. С. 100-115.
- 95 Ahlqvist J.A. Review. *Sociology Beyond Societies: Mobilities for the Twenty-first Century*. John Urry. *Teaching Sociology*, 28 (4): 392 – 393. 2000.
- 96 Eadie J. Review. *Sociology Beyond Societies: Mobilities for the Twenty-first Century*. John Urry. *Sociology*, 35 (1): 253 – 254. 2001.
- 97 Favell A. Games without Frontiers? Questioning the Transnational Social Power of Migrants in Europe. *Archives Européennes de Sociologie / European Journal of Sociology / Europäisches Archiv für Soziologie*, 44 (3): 397 – 427. 2003.
- 98 Macpherson H. Landscape's ocular centrism: and beyond? Tress G., Fry G., Opdam P (eds). *From landscape research to landscape planning: aspects of integration, education and application* Springer. Amsterdam: Kluwer Academic: 95 – 104. 2005.
- 99 Рорти Р. *Философия и зеркало природы*, Новосибирск: Изд-во Новосибирского ун-та. 1997.
- 100 Бергсон А. *Материя и память. Собр. соч. Т. 1*, М.: Московский клуб. 1992.
- 101 Блэк М. *Метафора. Теория метафоры*, М.: Прогресс: 153 – 172. 1990.
- 102 Luhman N. Tautology and Paradox in the Self-Descriptions of Modern Society. *Sociological Theory*, 6 (1): 21 – 37. 1988.